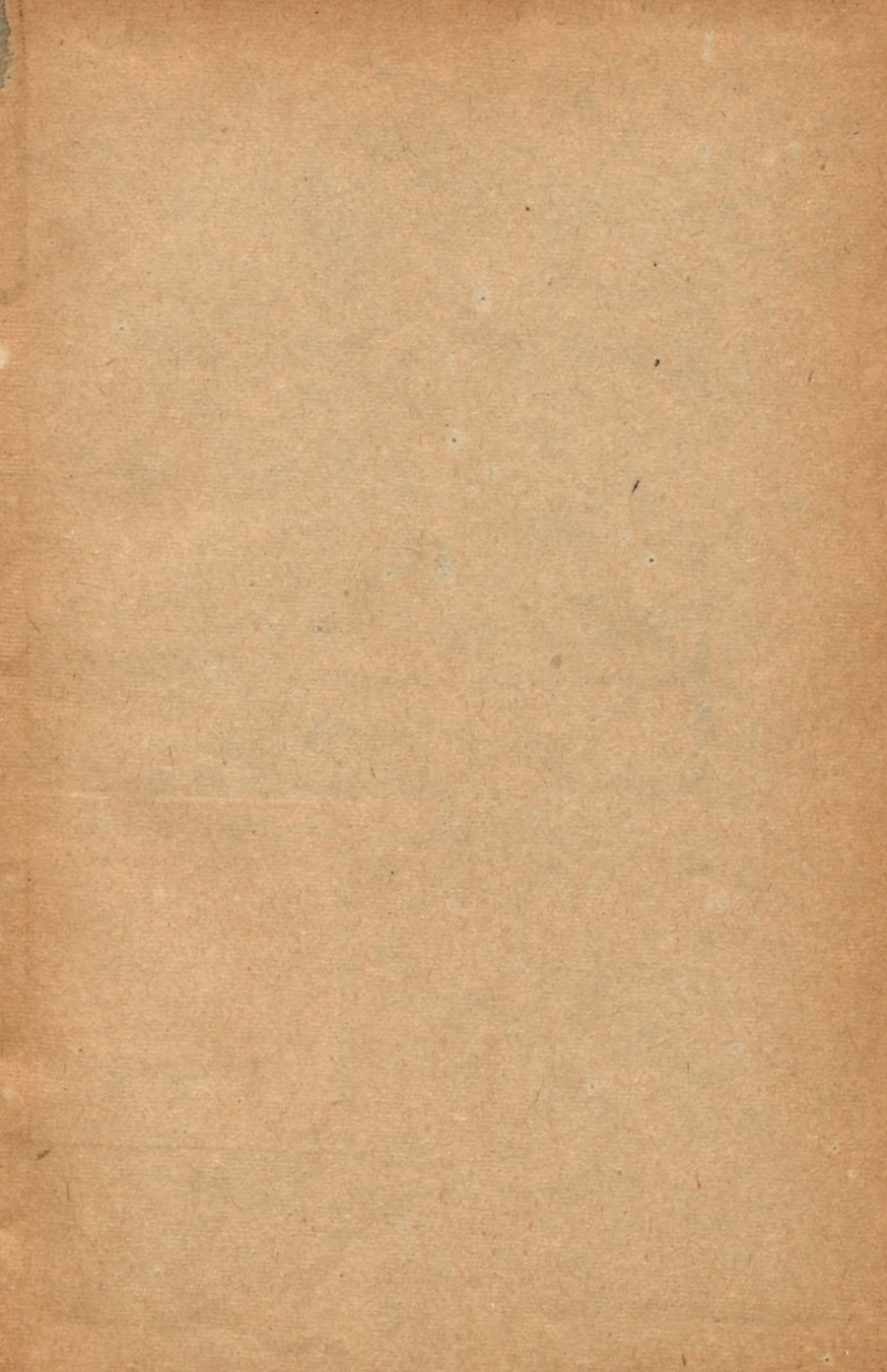


Biblioteka im. Hieronima  
Łopacińskiego w Lublinie

18188











*Всеволодъ Гаршинъ.*

ПЕРВАЯ КНИЖКА  
РАЗСКАЗОВЪ.

Четыре дня. — Происшествіе. — Трусъ. —  
Встрѣча. — Художники. — Ночь. — Attalea  
princeps. — То, чего не было.

изданіе 4-е.

нижней торговлѣ специально для  
нафидина, Спб., Б. Итальянск., № 8.

18188.

B. P. im. L.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).

1888.

1000072394



Вѣ

ѣ

С.-Петербургъ, Большая Итальянская, домъ № 8,

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

### БЕСѢДЫ СЪ ДѢТЬМИ О РАСТЕНІЯХЪ РАЗНЫХЪ СТРАНЪ.

Составилъ Ѳ. Тарапугинъ. Спб. 1875. 164 стр. Ц. 1 р. 50 коп.

Въ книгѣ «Что читать народу» дана слѣдующая рецензія: «Содержаніе книги посвящено растеніямъ преимущественно жаркихъ странъ. Въ бесѣдахъ, на которыя дѣлится книга, читатель встрѣтитъ описаніе кокосовой пальмы, сахарнаго тростника, деревьевъ: чайнаго, кофейнаго, ванильнаго, гуттаперчеваго, табачнаго и друг., хлопчатника, папируса, винограда, картофеля и т. д. Кромѣ того, авторъ дѣлаетъ общій бѣглый обзоръ вообще растеніямъ сѣверныхъ, умѣренныхъ и жаркихъ странъ; описываетъ нашу тундру и сравниваетъ ее съ песчаными, каменистыми пустынями Америки, покрытыми кактусами; описываетъ наши степи, наши лѣса и сравниваетъ послѣдніе съ дѣственными лѣсами тропическихъ странъ. Болѣе подробное содержаніе нѣкоторыхъ статей заключается въ слѣдующемъ: бесѣдуя о кокосовой пальмѣ, авторъ говоритъ о мѣстѣ ея распространенія и подробно перечисляетъ все то пріятное и полезное, что она даетъ человѣку. Бесѣдуя о сахарномъ тростникѣ авторъ рассказываетъ о способахъ его разведенія, сбора и выдѣлки изъ него сахара. Статья о чаѣ заключаетъ подробный рассказъ о выдѣлкѣ изъ него сахара. Статья о чаѣ заключаетъ подробный рассказъ о выдѣлкѣ его и описаніе чайнаго дерева. Статья о папирусѣ — описаніе способа приготовленія бумаги, а также даетъ достаточное понятіе о машинахъ, употребляемыхъ на бумажной фабрикѣ. Въ статьѣ о кукурузѣ читатель можетъ познаться съ растительной клѣточкой, составляющей основу всякой ткани, а также съ растеніями односѣмяночными и двусѣмяночными. Остальныя статьи точно также интересны и полны матеріала для приобрѣтенія извѣстныхъ знаній. Не смотря на заглавіе, по которому видно, что книга предназначена для дѣтей, статьи эти вполне пригодны и для взрослога грамотнаго изъ народа. Ботаническій отдѣлъ просмотрѣлъ Пр. А. Бекетовымъ. Въ текстѣ помѣщено 51 рисунокъ.



Всеволодъ Гаршинъ.

1230



# ПЕРВАЯ КНИЖКА

## РАЗСКАЗОВЪ.

Четыре дня. — Происшествіе. — Трусъ. —  
Встрѣча. — Художники. — Ночь. — Attalea  
princeps. — То, чего не было.

Издание 4-е.



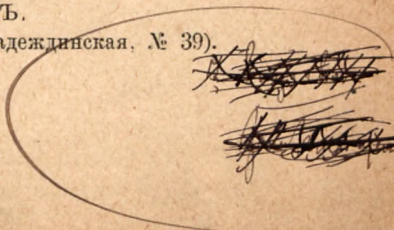
Складъ изданія въ книжной торговлѣ специально для  
иностранцевъ А. Я. Панафидина, Спб., Б. Итальянск., №8.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).

1888.

144696  
2306280





882-3





ЧЕТЫРЕ ДНЯ.





## ЧЕТЫРЕ ДНЯ.

---

Я помню, какъ мы бѣжали по лѣсу, какъ жужжали пули, какъ падали отрываемя ими вѣтки, какъ мы продирались, сквозь кусты боярышника. Выстрѣлы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее тамъ и сямъ. Сидоровъ, молоденькій солдатикъ первой роты («какъ онъ попалъ въ нашу цѣпь»? мелькнуло у меня въ головѣ), вдругъ присѣлъ къ землѣ и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, какъ уже почти на опушкѣ, въ густыхъ кустахъ я увидѣлъ... его. Онъ былъ огромный, толстый турокъ, но я бѣжалъ прямо на него, хотя я слабъ и худъ. Что-то хлопнуло, что-то, какъ мнѣ показалось, огромное пролетѣло мимо: въ ухахъ зазвенѣло. «Это онъ въ меня выстрѣ-

лилъ»; подумалъ я. А онъ съ воплемъ ужаса прижался спиною къ густому кусту боярышника. Можно было обойти кустъ, но отъ страха онъ не помнилъ ничего и лѣзъ на колючія вѣтви. Однимъ ударомъ я вышибъ у него ружье, другимъ воткнулъ куда-то свой штыкъ. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потомъ я побѣжалъ дальше. Наши кричали ура! падали, стрѣляли. Помню, и я сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ, уже выйдя изъ лѣсу, на полянѣ. Вдругъ «ура» раздалось громче, и мы всѣ сразу двинулись впередъ. Т. е. не мы, а наши, потому что я остался. Мнѣ это показалось страннымъ. Еще страннѣе было то, что вдругъ все исчезло; всѣ крики и выстрѣлы смолкли. Я не слышалъ ничего, а видѣлъ только что-то синее; должно быть, это было небо. Потомъ и оно исчезло.

---

Я никогда не находился въ такомъ странномъ положеніи. Я лежу, кажется, на животѣ и вижу передъ собою только маленькій кусочекъ земли. Нѣсколько травинокъ, муравей, ползущій съ одной изъ нихъ внизъ головою, какіе-то кусочки сора отъ прошлогодней травы — вотъ весь мой міръ. И вижу я его только однимъ глазомъ, потому что другою зажать чѣмъ-то твердымъ, должно быть вѣткою, на которую опирается моя голова. Мнѣ ужасно не ловко, и я хочу, но рѣшительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Такъ прохо-



дигъ время. Я слышу трескъ кузнечиковъ, жужжанье пчелы. Больше нѣтъ ничего. Наконецъ я дѣлаю усиліе, освобождаю правую руку изъ подъ себя и, упираясь обѣими руками о землю, хочу встать на колѣни.

Что-то острое и быстрое какъ молнія пронизываетъ все мое тѣло отъ колѣнъ къ груди и головѣ, и я снова падаю. Опять мракъ, опять ничего нѣтъ.

---

Я проснулся. Почему я вижу звѣзды, которыя такъ ярко свѣтятся на черно-синемъ болгарскомъ небѣ? Развѣ я не въ палаткѣ? Зячѣмъ я выльзъ изъ нея? Я дѣлаю движеніе, и ощущаю мучительную боль въ ногахъ.

Да, я раненъ въ бою. Опасно или нѣтъ? Я хватаюсь за ноги тамъ, гдѣ болитъ. И правая, и лѣвая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю ихъ руками, боль еще сильнѣе. Боль какъ зубная: постоянная, тянущая за душу. Въ ушахъ звонъ, голова отяжелѣла. Смутно понимаю я, что раненъ въ обѣ ноги. Что-жь это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили насъ? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потомъ яснѣе, и прихожу къ заключенію, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упалъ (этого, впрочемъ, я не помню; но помню, какъ всѣ побѣжали впередъ, а я не могъ бѣжать, и у меня

осталось только что-то спнее передъ глазами) — и упалъ на полянкѣ наверху холма. На эту полянку намъ показывалъ нашъ маленькій батальончикъ. «Ребята, мы будемъ тамъ!» закричалъ онъ намъ своимъ звонкимъ голосомъ. И мы были тамъ; значитъ, мы не разбиты... Почему-же меня не подобрали? Вѣдь здѣсь на полянѣ открытое мѣсто, все видно. Вѣдь, навѣрно, не я одинъ лежу здѣсь. Они стрѣляли такъ часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сдѣлать удобнѣе, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видѣлъ травку и муравья, ползущаго внизъ головою, я, пытаясь подняться, упалъ не въ прежнее положеніе, а перевернулся на спину. Оттого-то мнѣ и видны эти звѣзды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это дѣлается трудно, когда обѣ ноги перебиты. Нѣсколько разъ приходится отчаяваться; наконецъ, со слезами на глазахъ, выступившими отъ боли, я сажусь.

Надо мною—клочекъ черно-синяго неба, на которомъ горитъ большая звѣзда и нѣсколько маленькихъ вокругъ что-то темное, высокое. Это—кусты. Я въ кустахъ; меня не нашли!

Я чувствую, какъ шевелятся корни волосъ на моей головѣ.

Однако, какъ это я очутился въ кустахъ, когда они застрѣлили меня на полянкѣ? Должно быть, раненый я переползъ сюда, не помня себя отъ боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелить



нуться, а тогда съумѣлъ дотащиться до этихъ кустовъ. А, быть можетъ, у меня тогда была только одна рана, и другая пуля доканала меня уже здѣсь.

Блѣдныя розоватыя пятна заходили вокругъ меня. Большая звѣзда поблѣднѣла, нѣсколько маленькихъ — исчезли. Это всходитъ луна. Какъ хорошо теперь дома!..

Какіе-то странные звуки доходятъ до меня... Какъ будто бы кто-то стонетъ. Да, это — стонъ. Лежитъ ли около меня какой-нибудь такой же забытый, съ перебитыми ногами или съ пулею въ животѣ? Нѣтъ, стоны такъ близко, а около меня, кажется, никого нѣтъ... Боже мой, да вѣдь это — я самъ! Тихіе, жалобные стоны; неужели мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, такъ больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня въ головѣ туманъ, свинецъ. Лучше лечь опять и уснуть, скать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно.

Въ ту минуту, когда я собираюсь лечь, широкая блѣдая полоса луннаго свѣта ясно озаряетъ мѣсто, гдѣ я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагахъ въ пяти отъ меня. Кое-гдѣ на немъ видны блики отъ луннаго свѣта. Это пуговицы или аммуниція. Это или трупъ или раненый.

Все равно, я лягу...

Нѣтъ, не можетъ быть! Наши не ушли. Они

здѣсь, они выбили турокъ и остались на этой позиціи. Отчего же нѣтъ ни говора, ни треска костровъ? Да вѣдь я отъ слабости ничего не слышу. Они навѣрно здѣсь.

«Помогите!! Помогите!»

Дикіе, безумные, хриплые вопли вырываются изъ моей груди и нѣтъ на нихъ отвѣта. Громко разносятся они въ ночномъ воздухѣ. Все остальное молчитъ. Только сверчки трещатъ по прежнему неутомонно. Луна жалобно смотритъ на меня круглымъ лицомъ:

Если бы *онъ* былъ раненый, онъ очнулся бы отъ такого крика. Это трупъ. Нашъ или турокъ? Ахъ Боже мой! будто не все равно. И сонъ опускается на мои воспаленные глаза.

---

Я лежу съ закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Миѣ не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытыя вѣки солнечный свѣтъ: если я открою глаза, то онъ будетъ рѣзать ихъ. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдутъ другія, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тѣло будетъ неподвижно. Какъ было бы хорошо остановить и работу мозга; но ея ничѣмъ не удержишь. Мысли, воспоминанія тѣснятся въ головѣ. Впрочемъ, все это не на долго, скоро конецъ. Только въ газетахъ останется нѣсколько



строкъ, что, молъ, потери наши незначительны: ранено столько-то; убить рядовой изъ вольноопредѣляющихся Ивановъ. Нѣтъ, и фамиліи не напишутъ; просто скажутъ: убить одинъ. Одинъ рядовой, какъ та одна собаченка...

Цѣлая картина ярко вспыхиваетъ въ моемъ воображеніи. Это было давно; впрочемъ, все, вся моя жизнь, та жизнь, когда я не лежалъ еще здѣсь съ перебитыми ногами, была такъ давно... Я шелъ по улицѣ; кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядѣла на что-то бѣленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагонъ конно-железной дороги переѣхалъ ее. Она умирала, вотъ какъ теперь я. Какой-то дворникъ растолкалъ толпу, взялъ собачку за шиворотъ и унесъ. Толпа разошлась.

Уцесеть ли меня кто-нибудь? Нѣтъ, лежи и умирай. А какъ хороша жизнь... Въ тотъ день (когда случилось несчастіе съ собачкой) я былъ счастливъ. Я шелъ въ какомъ-то опьяненіи, да и было отчего. Вы, воспоминанья, не мучьте меня! Оставьте меня! Былое счастье, настоящія муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучатъ меня воспоминанія, которыя невольно заставляютъ сравнивать. Ахъ, тоска, тоска! Ты хуже ранъ.

Однако, становится жарко. Солнце жжетъ. Я открываю глаза, вижу тѣ же кусты, то же небо, только при дневномъ освѣщеніи. А вотъ и мой со-

сѣдь. Да, это—турокъ, трупъ. Какой огромный! Я узнаю его: это тотъ самый...

Передо мною лежитъ убитый мною человекъ. За что я его убилъ?

Онъ лежитъ здѣсь мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ.

А я? И я также... Я бы даже помѣнялся съ нимъ. Какъ онъ счастливъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ ранъ, ни смертельной тоски, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая черная дыра; вокругъ нея кровь. *Это сдѣлалъ—я.*

Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только какъ я буду подставлять *свою* грудь подъ пули. И я пошелъ и подставилъ.

Ну, и что же? Глупецъ, глупецъ! А этотъ несчастный феллахъ (на немъ египетскій мундиръ)—онъ виноватъ еще меньше. Прежде, чѣмъ ихъ посадили, какъ сельдей въ бочку, на пароходъ и повезли въ Константинополь, онъ и не слышалъ ни о Россіи, ни о Болгаріи. Ему велѣли идти,



онъ и пошелъ. Если бы онъ не пошелъ, его стали бы бить палками, а то, быть можетъ, какой-нибудь паша всадилъ бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Рущука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной англійской винтовки Пибоди и Мартини, все лѣземъ и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ къ ужасу. Когда онъ хотѣлъ уйти, какой-то маленькій человекъ, котораго онъ могъ бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ въ сердце.

Чѣмъ же онъ виноватъ?

И чѣмъ виноватъ я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? за что меня мучаетъ жажда? Жажда! Кто знаетъ, что значитъ это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румыніи, дѣлая въ ужасные, сорока-градусные жары, переходы по пятидесяти верстъ, тогда я не чувствовалъ того, что чувствую теперь. Ахъ, еслибы кто-нибудь пришелъ!

Боже мой! да у него въ этой огромной флягѣ, навѣрно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будетъ стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабѣвшія руки едва двигаютъ неподвижное тѣло. До трупа сажени двѣ, но для меня это больше — не больше, а хуже — десятковъ верстъ. Все-таки нужно ползти. Горло горитъ, жжетъ, какъ огнемъ. Да



и умрешь безъ воды скорѣе. Все-таки, можетъ быть...

И я ползу. Ноги цѣпляются за землю, и каждое движеніе вызываетъ цестерпимую боль. Я кричу, кричу съ воплями, а все-таки ползу. Наконецъ, вотъ и онъ. Вотъ фляга... въ ней есть вода и какъ много! кажется, больше полфляги, О! воды мнѣ хватитъ на долго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва. Я пачаль ствываять флягу, опершись на одинъ локоть и вдругъ, потерявъ равновѣсіе, упалъ лицомъ на грудь своего спасителя. Отъ него уже былъ слышенъ сильный трупный запахъ.

---

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и, притомъ, ея было много. Я проживу еще нѣсколько дней. Помните, въ «Физиологіи обыденной жизни» сказано, что безъ пищи человекъ можетъ прожить больше недѣли, лишь бы была вода. Да, тамъ еще разсказана исторія самоубійцы, уморившаго себя голодомъ. Онъ жилъ очень долго, потому что пилъ.

Ну и что же? Если я проживу еще дней пять-шесть, что будетъ изъ этого. Наши ушли, болгаре разбѣжались. Дороги близко нѣтъ. Все равно — умирать. Только, вмѣсто трехдневной агоніи, я сдѣлалъ себѣ недѣльную. Не лучше ли кончить? Около моего сосѣда лежитъ его ружье, отличное англій-

ское произведеніе. Стоить только протянуть руку; потомъ — одинъ мигъ и конецъ. Патроны валяются тутъ же, кучею. Онъ не успѣлъ выпустить всѣхъ.

Такъ кончать или — ждать? Чего? Избавленія? Смерти? Ждать, пока пріѣдутъ турки и начнутъ сдирать кожу съ моихъ рапелыхъ ногъ? Лучше ужъ самому...

Нѣтъ, не нужно падать духомъ; буду бороться до конца, до послѣднихъ силъ. Вѣдь если меня найдутъ, я спасенъ. Быть можетъ, кости не тронуты; меня вылечатъ. Я увижу родину, мать. Машу...

Господи, не дай имъ узнать всю правду! Пусть думаютъ, что я убитъ наповалъ. Что будетъ съ ними, когда они узнаютъ, что я мучался два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествіе къ сосѣду меня совершенно измучило. А тутъ еще этотъ ужасный залахъ! Какъ онъ иочернѣлъ... что будетъ съ нимъ завтра или послѣ завтра. И теперь я лежу здѣсь только потому, что нѣтъ силъ оттащить. Отдохну и поползу на старое мѣсто; кстати, вѣтеръ дуетъ оттуда и будетъ относить отъ меня зловошіе.

Я лежу въ совершенномъ изнеможеніи. Солнце жжетъ мнѣ лицо и руки. Накрыться нечѣмъ. Хоть бы ночь поскорѣе: это, кажется, будетъ вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.



Я спалъ долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по прежнему: раны болятъ, сосѣдь лежитъ такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о немъ. Неужели я бросилъ все милое, дорогое, шелъ сюда тысячеверстнымъ походомъ, голодалъ, холодалъ, мучался отъ зноя; неужели, наконецъ, я лежу теперь въ этихъ мукахъ только ради того, чтобы этотъ несчастный пересталъ жить? А вѣдь развѣ я сдѣлалъ чтонибудь полезное для военныхъ цѣлей, кромѣ этого убійства?

Убійство, убійца... И кто же? Я!

Когда я затѣялъ идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослѣпелый идеею, я не видѣлъ этихъ слезъ. Я не понималъ (теперь я понялъ), что я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами.

Да вспоминать ли? Прошлаго не воротишь.

А какое странное отношеніе къ моему поступку явилось у многихъ знакомыхъ. «Ну, юродивый! Лѣзетъ самъ не зная чего!» Какъ могли они говорить это? Какъ вяжутся такія слова съ *ихъ* представленіями о геройствѣ, любви къ родинѣ и прочихъ такихъ вещахъ? Вѣдь въ *ихъ* глазахъ я представлялъ всѣ эти доблести. И тѣмъ, не менѣе, я— «юродивый».

И вотъ я ѣду въ Кишеневъ; на меня навьючиваютъ ранецъ и всякія военныя принадлежности.

И я иду вмѣстѣ съ тысячами, изъ которыхъ развѣ нѣсколько наберется, подобно мнѣ, идущихъ охотно. Остальные остались бы дома, если бы имъ позволили. Однако, они идутъ такъ же, какъ и мы, «сознательные», проходить тысячи верстъ и дерутся такъ же, какъ и мы или даже лучше. Они исполняютъ свои обязанности, не смотря на то, что сейчасъ же бросили бы и ушли — только бы позволили.

Понесло рѣзкимъ утреннимъ вѣтеркомъ. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звѣзды померкли. Темно-синее небо посѣрѣло, подернулось нѣжными перпстыми облачками; сѣрый полумракъ поднимался съ земли. Наступалъ третій день моего... Какъ это назвать? Жизнь? Агонія?

Третій... Сколько ихъ еще осталось? Во всякомъ случаѣ, немного. Я очень ослабѣлъ и, кажется, даже не смогу отодвинуться отъ трупа. Скоро мы поравняемся съ нимъ и не будемъ непріятны другъ другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза въ день: утромъ, въ полдень и вечеромъ.

---

Солнце взошло. Его огромный дискъ, весь пересѣченный и раздѣленный черными вѣтвями кустовъ, красенъ, какъ кровь. Сегодня будетъ, кажется, жарко. Мой сосѣдъ—что станется съ тобою? Ты и теперь ужасенъ.

Да, онъ былъ ужасенъ. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная отъ природы, поблѣднѣла и пожелтѣла; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухомъ. Тамъ копошились черви. Ноги, затянутыя въ штиблеты, раздулись и между крючками штиблетъ вылѣзли огромные пузыри. И весь онъ раздулся горою. Что сдѣлаетъ съ нимъ солнце сегодня?

Лежать такъ близко къ нему невыносимо. Я долженъ отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть флагу, напиться; но—передвинуть свое тяжелое, неподвижное тѣло? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага въ часъ.

Все утро проходитъ у меня въ этомъ передвиженіи. Боль сильна, но что мнѣ она теперь? Я уже не помню, не могу представить себѣ ощущеній здороваго человѣка. Я даже будто привыкъ къ боли. Въ это утро я отползъ-таки сажени на двѣ и очутился на прежнемъ мѣстѣ. Но я не долго пользовался свѣжимъ воздухомъ, если можетъ быть свѣжій воздухъ въ шести шагахъ отъ гниющаго труна. Вѣтеръ перемѣняется и снова паноситъ на меня зловоніе до того сильное, что меня тошнитъ. Пустой желудокъ мучительно и судорожно сокращается; всѣ внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздухъ такъ и плыветъ на меня.

Я прихожу въ отчаяніе и плачу.

---



Совсѣмъ разбитый, одурманенный, я лежалъ почти въ безпамятствѣ. Вдругъ... не обманъ ли это разстроеннаго воображенія? Миѣ кажется, что иѣтъ. Да, это—говоръ. Конскій топотъ, людской говоръ. Я едва не закричалъ, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? Къ этимъ мученьямъ прибавятся еще другія, болѣе ужасныя, отъ которыхъ дыбомъ волосъ становится, даже когда о нихъ читаешь въ газетахъ. Сдерутъ кожу, поджарятъ раненныя ноги... Хорошо, если еще только это; но вѣдь они изобрѣтательны. Неужели лучше кончить жизнь въ ихъ рукахъ, чѣмъ умереть здѣсь? А если это—паши? О, проклятые кусты! зачѣмъ вы обросли вокругъ меня такимъ густымъ заборономъ? Ничего я не вижу сквозь нихъ; только въ одномъ мѣстѣ будто окошко между вѣтвями открываетъ миѣ видъ вдаль, въ долину. Тамъ, кажется, есть ручеекъ, изъ котораго мы шли передъ боемъ. Да, вонъ и огромная песчанниковая плита, положенная черезъ ручеекъ, какъ мостикъ. Они навѣрно поѣдутъ черезъ нее. Говоръ умолкаетъ. Я не могу слышать языка, на которомъ они говорятъ; у меня и слухъ ослабѣлъ. Господи! если это паши... Я закричу имъ; они услышатъ меня и отъ ручейка. Это лучше, чѣмъ рисковать попасть въ лапы башибузукамъ. Что-жь они такъ долго не ѣдутъ? Нетерпѣніе томитъ меня; я не замѣчаю даже запаха труна, хотя онъ нѣсколько не ослабѣлъ.

И вдругъ на переходѣ черезъ ручей показыва-  
ются казаки! Синіе мундиры, красные лампасы,  
вики. Ихъ цѣлая полусотня. Впереди, на прево-  
сходной лошади, чернородый офицеръ. Только-что  
полусотня перебралась черезъ ручей, онъ повер-  
нулся на сѣдлѣ всѣмъ тѣломъ назадъ и закричалъ:  
«Р-ы-ы-сю, ма-арш!»

— Стойте, стойте, Бога ради! Помогите, помо-  
гите, братцы! кричу я; но топотъ дюжихъ коней,  
стукъ шашекъ и шумный казачій говоръ громче  
моего хрипѣнья—и меня не слышать!

О проклятіе! Я въ изнеможеніи падаю лицомъ  
къ землѣ и начинаю рыдать. Изъ опрокинутой мною  
фляжки течетъ вода, моя жизнь, мое спасенье, моя  
отсрочка смерти. Но я замѣчаю это уже тогда,  
когда воды осталось не больше полстакана, а осталь-  
ная ушла въ жадную, сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцѣпененіе, которое  
овладѣло мною послѣ этого ужаснаго случая? Я ле-  
жалъ неподвижно, съ полузакрытыми глазами. Вѣ-  
теръ постоянно перемѣнялся и то дулъ на меня  
свѣжимъ и чистымъ воздухомъ, то снова обдавалъ  
меня вонью. Сосѣдъ въ этотъ день сдѣлался страш-  
нѣе всякаго описанія. Разъ, когда я открылъ глаза,  
чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него  
уже не было. Оно сползло съ костей. Страшная  
костяная улыбка, вѣчная улыбка, показалась мнѣ  
такой отвратительной, такой ужасной, какъ ни-  
когда, хотя мнѣ случалось не разъ держать черепа

въ рукахъ и препарировать цѣлыя головы. Этотъ скелетъ въ мундирѣ съ свѣтлыми пуговицами привелъ меня въ содроганіе. «Это—война, подумалъ я.— Вотъ ея изображеніе».

А солнце жжетъ и печетъ попрежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпилъ всю. Жажда мучила такъ сильно, что, рѣшившись выпить маленькій глотокъ, я залпомъ проглотилъ все. Ахъ, зачѣмъ я не закричалъ казакамъ, когда они были такъ близко отъ меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучали бы часъ, два, а тутъ я и не знаю еще сколько времени придется валяться здѣсь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои сѣдыя косы, ударишься головою объ стѣну, проклянешь тотъ день, когда родила меня, весь міръ проклянешь, что выдумалъ на страданіе людямъ войну!

Но вы съ Машей, должно быть, и не услышите о моихъ мукахъ. Прощай мать, прощай моя невеста, моя любовь! Ахъ, какъ тяжело, горько! Подъ сердце подходитъ что-то.

Опять эта бѣленькая собачка! Дворникъ не пожалѣлъ ея, стукнулъ головою объ стѣну и бросилъ въ яму, куда бросаютъ соръ и льютъ помой. Но она была жива. И мучилась еще цѣлый день. А я несчастіе ея, потому что мучаюсь цѣлые три дня. Завтра—четвертый, потомъ пятый, шестой... Смерть, гдѣ ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходитъ и не беретъ меня. И



я лежу подь этимъ страшнымъ солнцемъ, и нѣтъ у меня глотка воды, чтобъ освѣжить воспаленное горло, и трупъ заражаетъ меня. Онъ совсѣмъ расплылся. Мирады червей падаютъ изъ него. Какъ они копошатся. Когда онъ будетъ съѣденъ и отъ него останутся одни кости и мундиръ, тогда — моя очередь. И я буду такимъ же.

Проходитъ день, проходитъ ночь. Все то же. Наступаетъ утро. Все то же. Проходитъ еще день...

Кусты шевелятся и шелестятъ, точно тихо разговариваютъ. «Вотъ ты умрешь, умрешь, умрешь», шепчутъ они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» отвѣчаютъ кусты съ другой стороны.

— Да тутъ ихъ и не увидишь! громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разомъ прихожу въ себя. Изъ кустовъ глядятъ на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

— Лопаты! кричитъ онъ. — Тутъ еще, двое: нашъ, да ихній!

— Не надо лопать, не надо зарывать меня, я живъ! хочу я закричать; но только слабый стоишь выходить изъ запекшихся губъ.

— Господи! Да никакъ онъ живъ? Баринъ Ивановъ! Ребята! вали сюда, нашъ баринъ живъ! Да доктора зови!

Черезъ полминуты мнѣ льютъ въ ротъ воду, водку и еще что-то. Потомъ все исчезаетъ.

Мѣрно качаясь, двигаются носилки. Это мѣрное движеніе убаюкиваетъ меня. Я то проснусь, то снова забудусь. перевязанныя раны не болятъ; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всемъ тѣлѣ...

— Сто-о-оіі! Оопуска-а-іі! Санитары, четвертая смѣна, маршъ! за носилки! Берись, подыма-аіі!

Это командуетъ Петръ Ивановичъ, нашъ лазаретный офицеръ, высокій, худой и очень добрый человекъ. Онъ такъ высокъ, что, обернувъ глаза въ его сторону, я постоянно вижу его голову съ рѣдкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несутъ на плечахъ четыре рослые солдата.

— Петръ Ивановичъ! шепчу я.

— Что голубчикъ?

Петръ Ивановичъ наклоняется надо мною.

— Петръ Ивановичъ, что вамъ сказалъ докторъ? Скоро я умру?

— Что вы, Ивановъ, полноте! Не умрете вы. Въдъ у васъ всѣ кости цѣлы. Этакій счастливецъ! Ни кости, ни артеріи. Да какъ вы выжили эти тросъ съ половиною сутокъ? Что вы ѣли?

— Ничего.

— А пили?

— У турка взялъ флягу. Петръ Ивановичъ, я не могу говорить теперь. Послѣ.

— Ну, Господь съ вами, голубчикъ, спите себѣ.  
Снова сонъ, забытье...

Я очнулся въ дивизионномъ лазаретѣ. Надо мною  
стоятъ доктора, сестры милосердія, и кромѣ нихъ,  
я вижу еще знакомое лицо знаменитаго петербург-  
скаго профессора, наклонившагося надъ моими но-  
гами. Его руки въ крови. Онъ возитъ у моихъ  
ногъ недолго и обращается ко мнѣ:

— Ну, счастливъ вашъ Богъ, молодой человѣкъ!  
Живы будете. Одну ножку-то мы отъ васъ взяли:  
ну, да вѣдь это—пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю имъ все, что  
здѣсь написано.



ПРОИСШЕСТВІЕ.



## ПРОИСШЕСТВІЕ.

---

### I.

Какъ случилось, что я, почти два года ни о чемъ не думавшая, начала думать—не могу понять. Не могъ же, въ самомъ дѣлѣ, натолкнуть меня на эти думы тотъ господинъ. Потому что эти господа такъ часто встрѣчаются, что я уже привыкла къ ихъ проповѣдямъ.

Да, почти всякій изъ нихъ, кромѣ совершенно привыкшихъ, или очешъ умныхъ, непремѣнно заговариваетъ объ этихъ ненужныхъ ни ему, ни даже мнѣ вещахъ. Сперва спроситъ, какъ меня зовутъ, сколько мнѣ лѣтъ, потомъ, большей частью съ довольно печальнымъ видомъ, начнетъ говорить о томъ, что «нельзя ли какъ-нибудь уйти отъ подобной жизни?» Сначала меня мучали такіе разпросы. но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.



Но вотъ уже двѣ недѣли, всякій разъ, когда я не весела, т. е. не пьяна (потому что развѣ есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?) и когда я остаюсь совсѣмъ одна, я начинаю думать. И не хотѣла бы, да не могу; не отвязываются эти тяжелыя думы; одно средство забыть—уйти куда-нибудь, гдѣ много народа, гдѣ пьянствуютъ, безобразничаютъ. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь... Тогда—легче. Отчего прежде этого не бывало, съ самаго того дня, какъ я махнула рукой на все? Больше двухъ лѣтъ я живу здѣсь, въ этой скверной комнатѣ, все время провожу одинаково, также бываю въ разныхъ Эльдorado и Пале-де-Кристалъ и все время, если и не было весело, такъ хоть не думалось о томъ, что не весело; а теперь вотъ—совсѣмъ, совсѣмъ другое.

Какъ это скучно и глухо. Вѣдь все равно, не выберусь никуда; не выберусь просто потому, что сама не захочу. Въ жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вонъ и въ «Стрекозѣ» (которую приносятъ мнѣ одинъ знакомый довольно часто и ужъ непременно, когда въ ней появляется что-нибудь «шкантное»), и въ «Стрекозѣ» я видѣла рисунокъ: посрединѣ маленькая, хорошенькая дѣвочка съ куклой, а около нея два ряда фигуръ. Вверхъ отъ дѣвочки идутъ; маленькая гимназистка или пансіонерка, потомъ скромная молодая дѣвушка, мать семейства и, наконецъ, старушка, почтенная такая; а въ другую

сторону, внизу—дѣвочка съ коробкомъ изъ магазина, потомъ я, я и еще я. Первая я—вотъ какъ теперь; вторая—улицу метлою мететь, а третья—та ужъ совсѣмъ отвратительная, гнусная старуха. Но только я ужъ не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потомъ въ Екатериновку. На это меня хватить, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этотъ художникъ! Почему такъ-таки непременно, если пансіонерка или гимназистка, такъ уже и скромная дѣвица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава Богу, вѣдь и я могу блеснуть гдѣ-нибудь на Невскомъ французскимъ или нѣмецкимъ языкомъ! И рисовать цвѣты, я думаю, еще не забыла, и «Calipso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse» помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась душой, набитой душой, одна у добрыхъ родныхъ, увѣрявшихъ, что они «пріютили сироту», и пыжкія пошлыя рѣчи того фата, и какъ я, сдуру, обрадовалась, и всю ложь и грязь тамъ, въ «чистомъ обществѣ», откуда я попала сюда, гдѣ теперь одурманиваюсь водкой... Да, теперь я стала пить даже и водку. «Hougein!» закричала бы кухня Ольга Николаевна.

Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ не hougein? Но виновата ли я сама въ этомъ дѣлѣ? Если бы мнѣ, семнадцатилѣтней дѣвчонкѣ, съ восьми лѣтъ сидѣв-

шей въ четырехъ стѣнахъ и видѣвшей только такихъ же дѣвочекъ, какъ и я сама, да еще разныхъ мамановъ, попался не такой, какой тотъ, съ прическою à la Caroule, любезный мой другъ, а другой, хорошій человекъ, то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Развѣ есть они, хорошіе люди, развѣ я ихъ видѣла и послѣ, и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошіе люди, когда изъ десятковъ, которыхъ я знаю, нѣтъ ни одного, котораго я могла бы не ненавидѣть. И могу ли я вѣрить, что они есть, когда тутъ и мужья отъ молодыхъ женъ, и дѣти (почти дѣти—четырнадцати - пятнадцати лѣтъ) изъ «хорошихъ семействъ», и старики лысые, параличные, отжившіе?

И, наконецъ, могу ли я не ненавидѣть, не презирать, хотя я сама презираемое и презрѣнное существо, когда я вижу среди нихъ такихъ людей, какъ нѣкоторый молодой нѣмчикъ съ вытравленнымъ на рукѣ, выше локтя, вензелемъ. Онъ самъ объяснилъ мнѣ, что это—имя его невѣсты. «Jetzt aber bist du meine liebe, allerliebteste Liebchen», сказалъ онъ, смотря на меня маслянивыми глазками и вдобавокъ прочелъ стишки Гейне. И даже съ гордостью объяснилъ мнѣ, что Гейне—великій нѣмецкій поэтъ, но что у нихъ, у нѣмцевъ, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллеръ, и что только у гениальнаго



и великаго нѣмецкаго народа могутъ рождаться такіе поэты.

Какъ мнѣ хотѣлось вѣшиться въ его скверную, смазливую, бѣлобрысую рожу! Но, вмѣсто этого, я залпомъ выпила стаканъ портвейна, которымъ онъ меня поилъ, и забыла все.

---

Зачѣмъ мнѣ думать о своемъ будущемъ, когда я и такъ знаю его очень хорошо? Зачѣмъ мнѣ думать и о прошедшемъ, когда тамъ нѣтъ ничего, что могло бы замѣнить мою тенерешнюю жизнь? Да, это правда. Если бы мнѣ предложили сегодня же вернуться туда, въ изящную обстановку, къ людямъ съ изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталась умирать на своемъ посту.

Да, и у меня свой постъ! И я тоже нужна, необходима. Недавно приходилъ ко мнѣ одинъ юноша, очень разговорчивый, и цѣлую страшицу прочиталъ мнѣ наизусть изъ какой-то книги. «Это нашъ философъ, нашъ русскій философъ, говорилъ онъ. Философъ говорилъ что-то очень туманное и для меня лестное; въ родѣ того, что мы—«клананы для общественныхъ страстей...» И слова гадкія, и философъ, должно быть, скверный, а хуже всего былъ этотъ мальчишка, повторившій эти «клананы».

Впрочемъ, недавно и мнѣ пришла въ голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который

приговорилъ меня къ пятнадцати рублямъ штрафа за неприличное поведеніе въ общественномъ мѣстѣ.

Въ ту самую минуту, когда онъ читалъ рѣшеніе, причѣмъ всѣ встали, я подумала вотъ что. За что вся эта публика такъ презрительно смотритъ на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дѣло, занимаю самую презрѣнную должность; но вѣдь это—должность! Этотъ судья тоже занимаетъ должность. И я думаю, что мы оба...

Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. Въ моей головѣ все перемѣшалось: и та скверная зала, гдѣ я сегодня буду безстыдно плясать, и Литовскій замокъ, и эта скверная комната. въ которой можно жить только пьяной. Въ вискахъ у меня стучить, въ ушахъ звонъ, въ головѣ все куда-то скачетъ и несется и я сама несусь куда-то. Мнѣ хочется остановиться, удержаться за что-нибудь, хоть за соломинку, но у меня нѣтъ и соломинки.

Лгу я, есть она у меня! И даже не соломинка, а, быть можетъ, что-то понадежнѣе, но я сама до того опустилась, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору.

---

Кажется, это случилось въ концѣ августа. Помню, тогда былъ такой славный осенній вечеръ. Я гуляла по Лѣтнему саду и тамъ познакомилась съ этой «опорой». Этотъ человѣкъ не представлялъ ничего

особеннаго, кромѣ развѣ какой-то добродушной болтливости. Онъ разсказалъ мнѣ чуть не о всѣхъ своихъ дѣлахъ и знакомыхъ. Ему было двадцать пять лѣтъ, звали его Иваномъ Ивановичемъ. Собою онъ былъ ни дурень, ни хорошъ. Онъ болталъ со мною, какъ съ какимъ-нибудь знакомымъ; разсказывалъ даже анекдоты о своемъ начальникѣ, и объяснилъ мнѣ, кто у нихъ въ департаментѣ на виду.

Онъ ушелъ, и я забыла о немъ. Черезъ мѣсяць, онъ, однако, явился. И явился пасмурный, печальный, похудѣвшій. Когда онъ вошелъ, я даже немного испугалась незнакомаго нахмуреннаго лица.

— Вы меня помните?

Въ эту минуту я вспомнила его, и сказала, что помню.

Онъ покраснѣлъ.

— Я потому думалъ, что вы не помните, что вѣдь много...

Разговоръ пересѣкъся. Мы сидѣли на диванѣ; я въ одномъ углу, онъ въ другомъ, какъ будто въ первый разъ выѣхалъ съ визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндръ въ рукахъ держалъ. Сидѣли мы довольно долго; наконецъ, онъ приподнялся и поклонился.

— Такъ до свиданья-съ, Надежда Николаевна, произнесъ онъ со вздохомъ.

— Какъ вы узнали мое имя? — закричала я, вспыхнувъ. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгенія.



Я крикнула на Ивана Ивановича такъ сердито, что онъ даже испугался.

— Вѣдь я ничего дурного, Надежда Николаевна.—Я ни одному человѣку... А я знакомъ съ Петромъ Васильевичемъ, участковымъ, такъ онъ мнѣ разсказалъ о васъ все, какъ было. Я хотѣлъ сказать вамъ: Евгенія, да языкъ не послушался, и я ваше настоящее имя произнесъ.

— Да вы скажите, зачѣмъ вы пришли ко мнѣ?

Онъ молчалъ и печально смотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Для чего? продолжала я все разгорячаясь.— Какой интересъ я представляю для васъ? Нѣтъ, вы лучше не ходите ко мнѣ; знакомства я съ вами вести не буду, потому что у меня нѣтъ знакомыхъ. Я знаю, зачѣмъ вы пришли ко мнѣ! Васъ заинтересовалъ разсказъ этого полицейскаго. Вы подумали: вотъ рѣдкость, образованная дѣвушка въ такую жизнь попала... Вы вздумали спасти меня? Подите отъ меня, мнѣ ничего не нужно! Оставьте меня лучше издыхать одну, чѣмъ...

Тутъ я взглянула на его лицо и остановилась. Я видѣла, что била его каждымъ словомъ. Онъ не говорилъ ничего, но одинъ видъ его заставилъ меня замолчать.

— До свиданья, Надежда Николаевна, сказалъ онъ.—Очень жалѣю, что огорчилъ васъ. И себя тоже. До свиданья.

Онъ протянулъ мнѣ руку (я не могла не дать ему своей), и вышелъ медленными шагами. Я слы-

шала, какъ онъ спускался по лѣстницѣ и видѣла въ окно, какъ онъ, согнувъ шею, перешелъ черезъ дворъ какою-то медленною и качающеюся походкою. У воротъ онъ оглянулся, посмотрѣлъ на мои окна и исчезъ.

И вотъ этотъ-то человѣкъ можетъ быть моею «опорой». Стоить мнѣ только занкнуться, и я сдѣлаюсь законной женой. Законною женою бѣднаго, но благороднаго человѣка, и даже сдѣлаюсь бѣдною, но благородною родительницею, если только Господь во гнѣвѣ своемъ еще пошлетъ мнѣ ребенка.

## II.

Сегодня Евсеѣй Евсеѣичъ говорилъ мнѣ:

— Вы послушайте меня, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ, старикъ, скажу. Вы, батюшка, не дѣльно вести себя стали: смотрите какъ-бы до начальства не дошло!

Онъ еще долго говорилъ (стараясь говорить о самой сути дѣла обиняками) о службѣ, чинпочинаніи, объ нашемъ генералѣ, обо мнѣ и, наконецъ, началъ добираться и до моего несчастія. Мы сидѣли въ трактирѣ, куда Надежда Николаевна часто заходитъ со своими знакомыми.

Евсеѣй Евсеѣичъ все давно замѣтилъ и давно уже вытянулъ отъ меня многія подробности. Не могъ я удержать глупаго языка, разболталъ все, да притомъ еще чуть не разревѣлся.

Евсѣй Евсѣичъ разсердился.

— Ахъ вы бабень, бабень вы чувствительный! Молодой человекъ, хорошій чиновникъ, изъ-за дряннi какую исторiю развелъ! Да плюньте вы на нее! Да что вамъ до нея за дѣло? добро бы дѣвица благопристойная, а то, съ позволенья сказать...

Евсѣй Евсѣичъ даже плюнулъ.

Послѣ этого случая, онъ часто возвращался къ предмету своихъ огорченiй (Евсѣй Евсѣичъ искренно огорчается за меня), но уже не ругался, потому что замѣтилъ, что это мнѣ неприятно. Впрочемъ, онъ могъ сдерживать себя недолго, и хотя сначала старался заговаривать издалека, но, въ концѣ концовъ, всегда приходилъ къ одному заключенiю, что надо бросить, «наплевать» и тому подобное.

Я и самъ сочувствую, строго говоря, тому, что онъ твердитъ мнѣ каждый день. Сколько разъ и я думалъ тоже, что нужно бросить и наплевать! Да, сколько разъ! И столько же разъ, послѣ такихъ мыслей, выходилъ изъ дому и ноги несли меня въ ту улицу... И вотъ она идетъ нарумяненная, съ на-сурмленными бровями, въ бархатной шубкѣ и щегольской котиковою шапочкѣ — прямо на меня; и я сворачиваю на другую сторону, чтобы она не замѣтила моихъ преслѣдованiй. Она доходитъ до угла и поворачиваетъ назадъ, нагло и гордо смотря на прохожихъ и иногда заговаривая съ ними; я слѣжу за нею съ другой стороны улицы, стараюсь не терять ее изъ виду и безнадежно смотрю на ея



маленькую фигурку, пока какой-нибудь... мерзавецъ не подойдетъ къ ней, не заговорить. Она отвѣчаетъ ему, она поворачивается и идетъ съ нимъ... И я за ними. Если бы дорога была утыкана острыми гвоздями, мнѣ не было-бы больнѣе. Я иду, не слыша ничего и не видя ничего, кромѣ двухъ фигуръ...

Я не смотрю себѣ подъ ноги и около себя и иду, выпуча глаза, натываясь на прохожихъ, получая замѣчанія, ругательства и толчки. Одинъ разъ я опрокинулъ ребешка...

Они поворачиваютъ направо и цалѣво, входятъ въ калитку; сначала она, потомъ онъ: почти всегда изъ какой-то страшной вѣжливости онъ даетъ ей дорогу. Потомъ и я вхожу. Противъ двухъ оконъ, хорошо мнѣ знакомыхъ, стоитъ сарай съ сѣноваломъ: на сѣноваль ведетъ легкая желѣзная лѣсенка, кончающаяся площадкою безъ перилъ. И спужу я на этой площадкѣ и смотрю на спущенныя бѣлыя занавѣски...

Сегодня я тоже стоялъ на своемъ странномъ посту, хотя на дворѣ порядочный морозъ. Озябъ я ужасно, ногъ не слышалъ подъ собою, а все-таки стоялъ. Паръ шелъ отъ моего лица: усы и борода обмерзли; ноги начали цѣпенѣть. По двору ходили люди, но не замѣчали меня и, громко разговаривая, проходили мимо. Съ улицы доносилась пьяная пѣсня (веселая эта улица!), какая-то перебранка, стукъ скребокъ о панель, которую чистили

дворники. Всѣ эти звуки шумѣли въ моихъ ушахъ, но я не обращалъ на нихъ вниманія, какъ и на морозъ, щипавшій лицо, и на озябшія ноги. Все это: и звуки, и ноги, и морозъ, было какъ будто далеко, далеко отъ меня. Ноги ныли сильно, но внутри меня что-то ныло еще сильнѣе. У меня нѣтъ силъ пойти къ ней. Знаетъ ли она, что есть человѣкъ, который счелъ бы за счастье сидѣть съ нею въ одной комнатѣ и, не касаясь даже руки ея, только смотрѣть ей въ глаза? что есть человѣкъ, который кидается въ огонь, если это поможетъ ей выйти изъ ада и если бы она захотѣла выйти? Но она не хочетъ... И я до сихъ поръ не знаю, почему она не хочетъ. Вѣдь я не могу повѣрить, что она испорчена до мозга костей; не могу я повѣрить этому, потому что знаю, что это не такъ, потому что знаю ее, потому что люблю, люблю ее...

Лакей подошелъ къ Ивану Ивановичу, который положилъ локти на столъ, и на локти лицо и изрѣдка вздрагивалъ, и сталъ трогать его за плечо.

— Господинъ Никитицъ! такъ нельзя-съ... При всѣхъ... Хозяинъ забранить. Господинъ Никитицъ! здѣсь нельзя, чтобъ такимъ родомъ. Извольте вставать!

Иванъ Ивановичъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на слугу. Онъ вовсе не былъ пьянъ, и слуга понималъ это, какъ только увидѣлъ его печальное лицо.

— Это, Семень, ничего. Это такъ. Ты вотъ дай мнѣ графинчикъ очищенной.

— Съ чѣмъ прикажете?

— Съ чѣмъ? Съ рюмкой. И побольше, чтобы не графинчикъ, а графинъ. Вотъ тебѣ, получи за все и еще возьми два двугривенныхъ. Черезъ часъ отправишь меня домой на извожикѣ. Ты вѣдь знаешь, гдѣ я живу?

— Знаю-съ... Только. сударь, какъ оно это?— Онъ, очевидно, недоумѣвалъ: подобный случай представился ему въ первый разъ за все время его долголѣтней практики.

— Нѣтъ, постой, я лучше самъ.

Иванъ Ивашчъ вышелъ въ переднюю, одѣлся и, выйдя на улицу, завернулъ въ торговое заведеніе, на низкомъ окнѣ котораго ярко блестѣли освѣщенные газомъ разноцвѣтные ярлыки бутылокъ, аккуратно и со вкусомъ уложенныхъ въ подстилку изъ мха. Черезъ минуту онъ вышелъ, неся въ рукахъ двѣ бутылки, дошелъ до своей квартиры, которую нанималъ въ меблированныхъ комнатахъ Цукербергъ, и заперъ за собою дверь на ключъ.

### III.

Я опять забылась и опять проснулась. Три недѣли ежедневнаго шатанья;—какъ я только выношу это! Сегодня у меня болить голова, кости, все тѣло.



Тоска скука, безцѣльныя и мучительныя разсужденія. Хоть бы пришелъ кто-нибудь!

---

Какъ будто въ отвѣтъ на ея мысль, въ передней зазвенѣлъ звонокъ. «Дома Евгенія?» — Дома, пожалуйѣ, отвѣтилъ голосъ кухарки. Неровныя, торопливыя шаги простучали по корридолу, дверь распахнулась и въ ней появился Ивацъ Иванычъ.

Онъ вовсе не былъ похожъ на того робкаго и застѣнчиваго человѣка, который приходилъ сюда же два мѣсяца назадъ. Шляпа на бекрень, цвѣтной галстухъ, увѣренный, дерзкій взглядъ. И при этомъ шатающаяся походка и сильный винный запахъ.

Надежда Николаевна вскочила съ мѣста.

Здравствуй! началъ онъ. — Я къ тебѣ пришелъ.

И онъ сѣлъ на стулъ у двери, не снявъ шляпы и развалился. Она молчала, молчалъ и онъ. Если бы онъ не былъ пьянъ, она бы нашла что сказать, но теперь она потерялась. Пока она думала, что ей дѣлать, онъ опять заговорилъ.

— Нида! Вотъ я и пришелъ... Имѣю право вдругъ бѣшено закричалъ онъ и вытянулся во весь ростъ. Шляпа ушла съ его головы, черныя волосы въ безпорядкѣ падали на лицо, глаза сверкали. Вся его фигура выражала такое бѣшен-

ство, что Надежда Николаевна испугалась на минуту.

Она попробовала говорить съ нимъ ласково.

— Слушайте, Иванъ Ивановичъ, я очень буду рада вашему приходу, только идите теперь домой. Вы вышли лишнее. Будьте такъ добры, голубчикъ, идите домой. Приходите, когда будете здоровы.

— Струсил! — пробормоталъ будто про себя Иванъ Ивановичъ, опять усаживаясь на стулъ. — Укротилась? Да за что ты меня гонишь? опять отчаянно завопилъ онъ.—За что? Пить-то вѣдь я изъ-за тебя началъ, вѣдь трезвый былъ. Чѣмъ ты тянешь меня къ себѣ, скажи ты мнѣ?

Онъ плакалъ. Пьяныя слезы душили его, текли по лицу и попадали въ ротъ, искривленный рыданіями. Онъ едва могъ говорить.

— Вѣдь другая за счастье бы сочла избавиться отъ этого ада. Работалъ бы я, какъ волъ. Жила бы ты беззаботно, спокойная, честная. Говори, чѣмъ я заслужилъ отъ тебя ненависть?

Надежда Николаевна молчала.

— Что ты молчишь? закричалъ онъ. — Говори! Говори что хочешь, только скажи что-нибудь. Пьянъ я — это вѣрно... не пьяный не пришелъ бы сюда. Знаешь ты, какъ я боюсь тебя, когда я въ здоровомъ умѣ? Вѣдь ты меня въ узелокъ связать можешь. Скажешь: украдь—украду. Скажешь убей—убью. Знаешь ли ты это? Навѣрно знаешь. Ты ум-

ная, ты все видишь. Если не знаешь... Надя, родная моя, пожалѣй меня!

И онъ на колѣняхъ ползаль передъ нею по полу. А она неподвижно сидѣла у стѣны, облокотясь на нее закинутою головою и заложивъ руки за спину. Ея взоръ былъ устремленъ на какую-то одну точку пространства. Видѣла ли она что-нибудь, слышала-ли что? Что она чувствовала при видѣ этого человѣка, валявшагося у нея въ ногахъ и просившаго у нея любви? Жалость, презрѣніе? Ей хотѣлось жалѣть его, но она чувствовала, что не можетъ жалѣть. Онъ возбуждалъ въ ней только отвращеніе. И могъ ли возбуждать онъ иное чувство въ этомъ жалкомъ видѣ: пьяный, грязный, униженно молящій.

Онъ ужъ нѣсколько дней, какъ бросилъ ходить на службу. Пилъ каждый день. Найдя утѣшеніе въ винѣ, онъ сталъ меньше слѣдить за своею страстью, и все сидѣлъ дома и пилъ, собираясь съ силами, чтобы пойти къ ней и сказать *все*. Что онъ долженъ былъ сказать ей, онъ и самъ не зналъ. «Скажу все, открою душу» — вотъ что мелькало въ его пьяной головѣ. Наконецъ, онъ рѣшился, пришелъ, началъ говорить. Даже сквозь туманъ похмѣлья онъ сознавалъ, что говоритъ и дѣлаетъ вещи, вовсе не возбуждающія къ нему любви, и все-таки говорилъ, чувствуя, что съ каждымъ словомъ все ниже и ниже куда-то падаетъ, все туже и туже затягивая петлю на своей шеѣ.



Онъ говорилъ еще долго и безсвязно. Рѣчь становилась все медленнѣе и медленнѣе и, наконецъ, его ошьянѣвшія, опухшія вѣки сомкнулись и, откинувъ голову назадъ на спинку стула, онъ заснулъ.

Надежда Николаевна стояла въ прежней позѣ, безцѣльно глядя куда-то въ потолокъ и барабача пальцами по обоямъ стѣны.

— Жалко мнѣ его? Нѣтъ, не жалко. Что я могу сдѣлать для него? Выйти за него замужъ? Да развѣ я смѣю? И развѣ же это не будетъ такую же продажею? Господи, да нѣтъ, это еще хуже!

Она не знала, почему хуже, но чувствовала это.

— Теперь я, по крайней мѣрѣ, откровенна. Меня всякій можетъ ударить. Развѣ я мало терплю оскорбленій? А тогда! чѣмъ я буду лучше? Развѣ не будетъ тотъ же развратъ, только не откровенный? Воцъ онъ сидитъ сонный, и голова отвалилась назадъ. Ротъ раскрытъ, лицо блѣдное, какъ у мертваго. Платье на немъ вычаканное: должно быть валялся гдѣ-нибудь. Какъ онъ тяжело дышетъ... Иногда даже хрипитъ... Да, но вѣдь это пройдетъ и онъ опять будетъ приличнымъ, скромнымъ. Нѣтъ, тутъ не то! А мнѣ кажется, что этотъ человѣкъ, если я дамъ ему надъ собою верхъ, замучаетъ меня однимъ воспоминаніемъ... И я не вынесу. Нѣтъ,

пусть я останусь тѣмъ, что есть... Да вѣдь и не долго ужъ оставаться.

Она набросила себѣ на плечи накидку и вышла изъ комнаты, хлопнувъ дверью. Иванъ Ивановичъ проснулся отъ стука, посмотрѣлъ вокругъ себя бессмысленными глазами, и, найдя, что на стулѣ спать неудобно, съ трудомъ добрался до постели, повалился на нее и заснулъ мертвымъ сномъ. Онъ проснулся съ головою болью, но трезвый, уже поздно вечеромъ и, увидя, гдѣ онъ находится, тотчасъ же уобѣжалъ.

Я вышла изъ дому, сама не зная куда пойду. Погода была скверная, день пасмурный, темный; мокрый снѣгъ падалъ на лицо и руки. Гораздо лучше было бы сидѣть дома, но можно ли мнѣ теперь сидѣть тамъ? Онъ совсѣмъ погибаетъ. Что мнѣ дѣлать, чтобы поддержать его? Могу ли я измѣнить свои отношенія къ нему? Ахъ, все въ моей душѣ, вся моя внутренность горитъ. Я не знаю сама, почему я не хочу воспользоваться случаемъ, бросить эту ужасную жизнь, освободиться отъ кошмара. Если бы я вышла за него? Новая жизнь, новыя надежды... Развѣ то чувство жалости, которое я все-таки чувствую къ нему, не можетъ перейти въ любовь?

Ахъ, нѣтъ! Теперь онъ готовъ лизать мои руки, а тогда... тогда онъ придавитъ меня ногою и ска-

жетъ: а! ты еще сопротивлялась, презрѣнная тварь! презирала меня.

Скажетъ-ли онъ это? Я думаю, что скажетъ.

Есть у меня одно средство спастись, избавиться, отличное, на которое я уже давно рѣшилась и къ которому навѣрно, въ концѣ концовъ, прибѣгну, но мнѣ кажется, что теперь еще рано. Слишкомъ я молода, слишкомъ много чувствую въ себѣ жизни. Жить хочется. Хочется дышать, чувствовать, слышать, видѣть; хочется имѣть возможность хоть изрѣдка взглянуть на небо, на Неву.

Вотъ и набережная. Громадныя зданія съ одной стороны, а съ другой — почернѣвшая Нева. Скоро тронется ледъ, рѣка будетъ голубая. Паркъ на той сторонѣ зазеленѣтъ. Острова также покроются зеленью. Хотя и петербургская, а все-таки весна.

И вдругъ вспомнилась мнѣ моя послѣдняя счастливая весна. Была тогда я дѣвочкой семи лѣтъ, жила у отца и матери, въ деревнѣ, въ степи. За мною присматривали мало, и я бѣгала гдѣ хотѣла и сколько хотѣла. Помню, какъ въ началѣ марта у насъ по степнымъ оврагамъ побѣжали, зашумѣли рѣчки талой воды, какъ потемнѣла степь, какой удивительный сталъ воздухъ, такой сырой и отградный. Обнажились сперва вершины бугровъ, зазеленѣла на нихъ травка. Потомъ и вся степь зазеленѣла хотя въ оврагахъ еще лежалъ умиравшій снѣгъ. Быстро, въ нѣсколько дней, точно изъ-подъ земли, совсѣмъ готовые выскочили, выросли кустики шю-



новъ и на нихъ пышные, ярко пурпуровые цвѣты. Жаворонки начали пѣть...

Господи, что я сдѣлала такого, что еще при жизни меня слѣдовало бросить въ адъ! Развѣ не хуже всякаго ада то, что я переживаю?

Каменный спускъ ведетъ прямо къ проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотрѣть на воду. Но вѣдь еще рано? Конечно, рано. Я подожду еще.

А все-таки хорошо было бы стать на этотъ скользкій, мокрый край проруби. Такъ сама бы соскользнула. Только холодно... Одна секунда — и поплывешь подъ льдомъ внизъ по рѣкѣ, будешь безумно биться объ ледъ руками, ногами, головою, лицомъ. Интересно знать, просвѣчиваетъ ли туда дневной свѣтъ?

Я стояла надъ прорубью неподвижно и долго, и уже дошла до того состоянія, когда человѣкъ ни о чемъ не думаетъ. Я давно промочила себѣ ноги, а не двигалась съ мѣста. Вѣтеръ былъ не холодный, но пронизывалъ меня насквозь, такъ что я вся дрожала, а все-таки стояла. И не знаю, сколько бы времени продолжалось это оцѣпенѣніе, если бы съ набережной кто-то не закричалъ мнѣ.

— Эй! мадамъ! Сударыня!

Я не обертывалась.

— Сударыня, пожалуйста на панель!

Кто-то сзади меня началъ спускаться по лѣстницѣ. Кромѣ шарканья ногъ по посыпаннымъ пес-

комъ ступенямъ, я слышала еще какой-то тупой стукъ. Я обернулась; спускался городской, стучала его шашка. Увидѣвъ мое лицо, онъ вдругъ измѣнилъ чинное выраженіе своей фізіономіи на грубое и дерзкое, подошелъ ко мнѣ и дернулъ за плечо:

— Убирайся вонъ отсюда, дрянъ ты эдакая. Шляетесь вездѣ! Сунешься съ дуру въ прорубь; потомъ отвѣчай за васъ, за шельмовъ.

Онъ узналъ по моему лицу, кто я.

#### IV.

Все тоже и тоже... Нѣтъ возможности на минуту остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сдѣлать съ собою, чтобы забыть?

Аннушка принесла мнѣ письмо. Откуда оно? я такъ давно не получала ни отъ кого писемъ.

«Милостивая государыня, Надежда Николаевна! Хотя я очень хорошо понялъ, что для васъ не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая дѣвушка и не захотите обидѣть меня. Въ первый и послѣдній въ жизни разъ, я прошу васъ быть у меня, такъ какъ сегодня мои именины. Родныхъ и знакомыхъ у меня нѣтъ. Умоляю васъ, приходите. Даю вамъ слово, что я ничего не скажу вамъ обиднаго или непріятнаго. Пожалуйте преданнаго вамъ

Ивана Никитина.

P. S. О своемъ недавнемъ поведеніи въ квартирѣ вашей не могу вспомнить безъ стыда. Будьте же у меня сегодня въ 6 часовъ. Прилагаю адресъ. И. Н.».

Что это значить? Онъ рѣшился написать ко мнѣ. Тутъ что-нибудь не совсѣмъ просто. Что онъ хочетъ сдѣлать со мною? Идти или нѣтъ?

Странно разсуждать — идти или не идти. Если онъ хочетъ заманить меня въ западню, то или для того, чтобы убить, или... но если и убьетъ, все же развязка.

Пойду.

Я одѣнусь попроще и поскромнѣе, смою съ лица румяна и бѣлила. Ему все-таки будетъ пріятнѣе. Причешу попроще голову. Какъ мало у меня осталось волосъ! Я причесалась, надѣла черное шерстяное платье, черный шарфикъ, бѣлый воротничекъ и рукавчики и подошла къ зеркалу взглянуть на себя.

Я чуть не заплакала, увидя въ немъ женщину, совсѣмъ не похожую на ту Евгенію, которая такъ «хорошо» пляшетъ скверные танцы въ разныхъ притонахъ. Я увидѣла вовсе не нахальную, нарумяненную кокетку съ улыбающимся лицомъ, съ ухорски взбитымъ шиньономъ, съ наведенными рѣсницами. Эта забитая и страдающая женщина, блѣдная, тоскливо смотрящая большими черными глазами съ темными кругами вокругъ — что-то совсѣмъ новое, вовсе не я. А, можетъ быть, это-то и есть я?



А вотъ та Евгенія, которую всѣ видятъ и знаютъ, та—что-то чужое, насѣвшее на меня, давящее меня, убивающее.

И я дѣйствительно заплакала и плакала долго и сильно. Отъ слезъ легче становится: такъ твердили мнѣ съ самаго дѣтства; только должно быть это справедливо не для всѣхъ. Не легче мнѣ стало, а еще хуже. Каждое рыданье болью отзывалось, каждая слеза горька. Тѣхъ, кому есть еще какая-нибудь надежда на исцѣленіе и миръ, тѣхъ слезы, быть можетъ, и облегчаютъ. А гдѣ она у меня?

Я вытерла слезы и отправилась.

---

Я безъ труда нашла номера мадамъ Цукербергъ, и чухонка-горничная показала мнѣ дверь къ Ивану Ивановичу.

— Можно войти?

Въ комнатѣ раздался стукъ быстро задвигаемаго ящика. — Войдите! быстро закричалъ Иванъ Ивановичъ. Я вошла. Онъ сидѣлъ у письменнаго стола и заклеивалъ какой-то конвертъ. Мнѣ онъ даже какъ будто и не обрадовался.

— Здравствуйте, Иванъ Ивановичъ, сказала я.

— Здравствуйте, Надежда Николаевна, отвѣтилъ онъ, вставая и протягивая мнѣ руку. Что то нѣжное мелькнуло у него на лицѣ, когда я протянула ему свою, но тотчасъ же и исчезло. Онъ былъ серьезенъ и даже суровъ.

— Благодарю васъ, что пришли.

— Зачѣмъ вы звали меня? спросила я.

— Боже мой, неужели вы не знаете, что значить для меня видѣть васъ! Впрочемъ, этотъ разговоръ для васъ неприятенъ.

Мы сидѣли и молчали. Чухонка принесла самоваръ. Иванъ Ивановичъ подаль мнѣ чай и сахаръ. Потомъ поставилъ на столъ варенье, печенье, конфекты, полбутылки сладкаго вина.

— Вы извините меня за угощеніе, Надежда Николаевна. Вамъ, быть можетъ, неприятно, но не сердитесь. Будьте добры, заварите чай, налейте. Кушайте; вотъ конфекты, вино.

Я стала хозяйничать, а онъ сѣлъ противъ меня, такъ что его лицо оставалось въ тѣни, и принялся разсматривать меня. Я чувствовала на себѣ его постоянный и пристальный взглядъ и чувствовала, что краснѣю.

Я на минуту подняла глаза, но сейчасъ же опять опустила, потому что онъ продолжалъ серьезно смотрѣть мнѣ прямо въ лицо. Что это значить? Неужели эта обстановка, скромное, черное платье, отсутствіе нахальныхъ лицъ, пошлыхъ рѣчей, подѣйствовали на меня такъ сильно, что я опять превратилась въ скромную и конфузливую дѣвочку, какою была два года тому назадъ? Мнѣ стало досадно.

— Скажите, пожалуйста, что вы вышучили на меня глаза? выговорила я съ усиліемъ, но бойко.

Иванъ Ивановичъ вскочилъ и заходилъ по комнатамъ.

— Надежда Николаевна! не говорите такъ грубо. Побудьте хоть часъ такую, какъ вы сюда пришли.

— Но я не понимаю, зачѣмъ вы меня позвали. Неужели только за тѣмъ, чтобы молчать и смотрѣть на меня?

— Да, Надежда Николаевна, только за этимъ. Вамъ вѣдь это особаго огорченія не сдѣлаетъ, а мнѣ утѣшеніе, въ послѣдній разъ на васъ посмотрѣть. Вы были такъ добры, что пришли, и въ этомъ платьѣ, такую, какъ теперь. Я этого не ждалъ, и за это вамъ еще больше благодаренъ.

— Но отчего же въ послѣдній разъ, Иванъ Ивановичъ?

— Я вѣдь уѣзжаю.

— Куда?

— Далеко, Надежда Николаевна. Я вовсе сегодня не именинникъ. Я такъ это, не знаю самъ почему, написалъ. А мнѣ просто хотѣлось еще разъ на васъ посмотрѣть. Хотѣлъ я сначала пойти и ждать, когда вы выйдете, да ужъ какъ-то рѣшился просить васъ къ себѣ. И вы были такъ добры, что пришли. Дай вамъ Богъ за это всего хорошаго.

— Мало хорошаго впереди, Иванъ Ивановичъ.

— Да, для васъ мало хорошаго. Впрочемъ, вѣдь вы сами знаете лучше меня, что для васъ впереди... Голосъ Ивана Ивановича задрожалъ. — Мнѣ лучше, прибавилъ онъ: — потому что я уѣду.



И его голосъ задрожалъ еще болѣе.

Мнѣ стало невыразимо жалко его. Справедливо ли все то дурное, что я чувствовала противъ него? За что я такъ грубо и рѣзко оттолкнула его? Но теперь уже поздно сожалѣть.

Я встала и начала одѣваться. Иванъ Ивановичъ вскочилъ какъ ужаленный.

— Вы уже уходите? взволнованнымъ голосомъ спросилъ онъ.

— Да, надо идти...

— Вамъ надо... Опять туда! Надежда Николаевна! да давайте я лучше убью васъ сейчасъ!

Онъ говорилъ это шопотомъ, схвативъ меня за руку и смотря на меня большими, растерянными глазами.

— Вѣдь лучше? Скажите!

— Да вѣдь вамъ, Иванъ Ивановичъ, за это въ Сибирь идти. Я вовсе не хочу этого.

— Въ Сибирь!.. Развѣ я оттого не могу убить васъ, что Сибири боюсь? Я не оттого... Я не могу васъ убить потому, что... да какъ же я убью васъ? Да какъ же я убью тебя? задыхаясь выговорилъ онъ:—вѣдь я...

И онъ схватилъ меня, поднялъ, какъ ребешка, на воздухъ, душа въ объятіяхъ и осыная поцѣлуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И также внезапно, какъ внезапно это случилось, поставилъ меня на ноги и быстро заговорилъ:

— Ну, идите, идите... Простите меня, но вѣдь

это въ первый и послѣдній разъ. Не сердитесь на меня. Идите, Надежда Николаевна.

— Я не сержусь, Иванъ Ивановичъ...

— Идите, идите! Благодарю, что пришли.

Онъ выпроводилъ меня и тотчасъ же заперся на ключъ. Я стала спускаться съ лѣстницы. Сердце ныло еще больше прежняго.

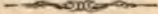
Пусть онъ ѣдетъ и забудетъ меня; останусь доживать свой вѣкъ. Довольно сентиментальничать. Пойду домой.

Я прибавила шагу и думала уже о томъ, какое платье надѣну и куда отправлюсь на сегодняшний вечеръ. Вотъ и конченъ мой романъ, маленькая задержка на скользкомъ пути! Теперь покачусь свободно, безъ задержекъ, все ниже и ниже...

— *Да вѣдь онъ теперь стрѣляется*, вдругъ закричало что-то у меня внутри. Я остановилась, какъ вкопанная; въ глазахъ у меня потемнѣло, по спинѣ побѣжали мурашки, дыханіе захватило... Да, онъ теперь убиваетъ себя! Онъ захлопнулъ ящикъ—это онъ револьверъ разсматривалъ. Письмо писалъ... Въ послѣдній разъ... Бѣжать! Быть можетъ, еще успѣю. Господи! удержи его! Господи! оставь его мнѣ!

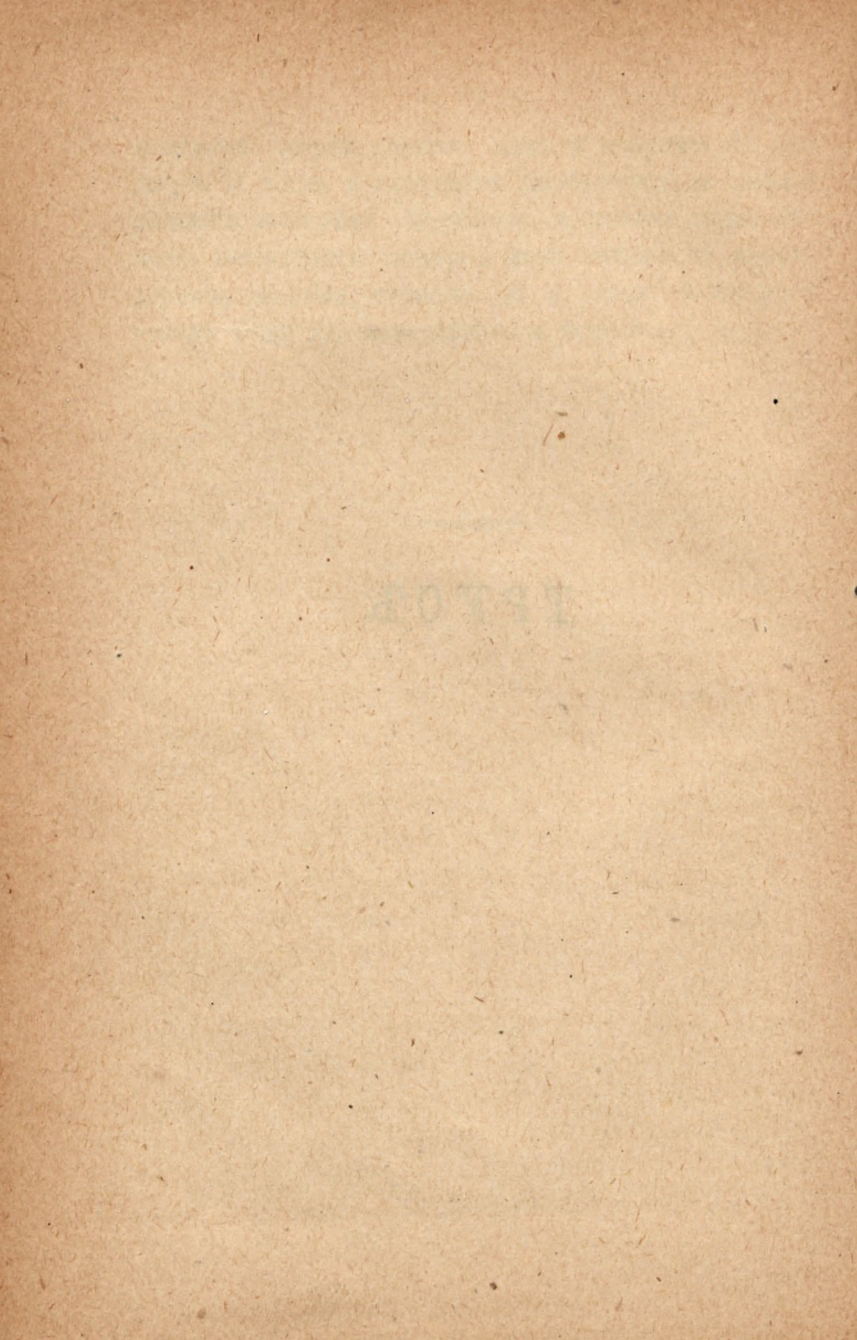
Смертельный, неиспытанный ужасъ охватилъ меня. Я бѣжала назадъ, какъ безумная, налетая на прохожихъ. Не помню, какъ я взбѣжала по лѣстницѣ. Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня, помню длинный, темный корридоръ, со мно-

жествомъ дверей, помню, какъ я кинулась къ его двери. И когда я схватилась за ея ручку, за дверью раздался выстрѣлъ. Отовсюду выскочили люди, бѣшено завертѣлись вокругъ меня вмѣстѣ съ корридоромъ, дверьми, стѣнами. И я упала; и въ моей головѣ тоже все завертѣлось и исчезло.





ТРУСЪ.



## Т Р У С Ъ.

Война рѣшительно не даетъ мнѣ покоя. Я ясно вижу, что она затягивается и когда кончится — предсказать очень трудно. Нашъ солдатъ остался тѣмъ же необыкновеннымъ солдатомъ, какимъ былъ всегда, но противникъ оказался вовсе не такимъ слабымъ, какъ думали, и вотъ уже четыре мѣсяца, какъ война объявлена, а на нашей сторонѣ еще нѣтъ рѣшительнаго успѣха. А между тѣмъ, каждый лишій день уносятъ сотни людей. Нервы, что ли, у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня, при чтеніи такого извѣстія, тотчасъ появляется передъ



глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ—это незначительная вещь! Отчего же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстія о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныя дѣла, съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, никто не обращаетъ вниманія?

Нѣсколько дней тому назадъ, Львовъ, знакомый мнѣ студентъ-медикъ, съ которымъ я часто спору о войнѣ, сказалъ мнѣ:

— Ну, посмотримъ, миролюбецъ, какъ-то вы будете проводить ваши гуманныя убѣжденія, когда васъ заберутъ въ солдаты, и вамъ самимъ придется стрѣлять въ людей.

— Меня, Василій Петровичъ, не заберутъ: я зачисленъ въ ополченіе.

— Да если война затянется, тронуть и ополченіе. Не храбритесь, придетъ и вашъ чередъ.

У меня сжалось сердце. Какъ эта мысль не пришла мнѣ въ голову раньше? Въ самомъ дѣлѣ, тронуть и ополченіе—тутъ нѣтъ ничего невозможнаго. «Если война затянется»... да она навѣрно заты-

нется. Если не протянется долго эта война, все равно, начнется другая. Отчего-жь и не воевать? Отчего не совершать великихъ дѣлъ? Мнѣ кажется, что нынѣшняя война — только начало грядущихъ, отъ которыхъ не уйду ни я, ни мой маленькій братъ, ни грудной сынъ моей сестры. И моя очередь прійдетъ очень скоро.

Куда-жь дѣнется твое «я»? Ты всѣмъ существомъ своимъ протестуешь противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смиренный, добродушный молодой человекъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги, да аудиторію, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать иную работу, трудъ любви и правды; я, наконецъ, привыкшій смотрѣть на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла—я вижу все мое зданіе спокойствія разрушеннымъ, а самого себя напяливающимъ на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна котораго я сейчасъ только разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ жалкой физической свободы — свободы располагать своимъ тѣломъ.

---

Львовъ посмѣивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущенія противъ войны.

— Относитесь, батюшка, къ вещамъ попроще, легче жить будетъ, говоритъ онъ.—Вы думаете, что мнѣ пріятна эта рѣзня? Кромѣ того, что она приноситъ всѣмъ бѣдствіе, она и меня лично обижаетъ, она не даетъ мнѣ доучиться. Устроятъ ускоренный выпускъ, ушлютъ рѣзать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь безплодными размышленіями объ ужасахъ войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сдѣлаю для ея уничтоженія. Право, лучше не думать, а зашматься своимъ дѣломъ. А если пошлютъ раненыхъ лѣчить, поѣду и лѣчить. Что-жъ дѣлать, въ такое время нужно жертвовать собою. Кстати, вы знаете, что Маша ѣдетъ сестрой милосердія?

— Неужели?

— Третьяго дня рѣшилась, а сегодня ушла практиковаться въ перевязкахъ. Я ея не отговаривалъ; спросилъ только, какъ она думаетъ устроиться съ своимъ ученьемъ. «Послѣ, говоритъ, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть ѣдетъ сестренка, доброму научится.

— А что-жъ Кузьма Ѳомичъ?

— Кузьма молчитъ, только мрачность на себя напустилъ звѣрскую и заниматься совсѣмъ пересталъ. Я за него радъ, что сестра уѣзжаетъ, право, а то просто извелся человѣкъ, мучается, тѣшью за ней ходитъ, ничего не дѣлаетъ. Ну, ужъ эта лю-



бовь!—Василій Петровичъ покрутилъ головой.—Вотъ и теперь побѣжалъ привести ее домой, будто она не ходила по улицамъ всегда одна!

— Мнѣ кажется, Василій Петровичъ, что не хорошо, что онъ живетъ съ вами.

— Конечно, не хорошо, да кто же могъ предвидѣть это? Намъ съ сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя — отчего-жъ не пустить въ нее хорошаго человѣка? А хорошій человѣкъ взялъ, да и врѣзался. Да мнѣ, по правдѣ сказать, и на нее досадно: пу, чѣмъ Кузьма хуже ея! Добрый, не глухой, славный. А она точно его и не замѣчаетъ. Ну, вы, однако, убирайтесь изъ моей комнаты; мнѣ некогда. Если хотите видѣть сестру съ Кузьмой, подождите въ столовой, они скоро придутъ.

— Нѣтъ, Василій Петровичъ, мнѣ тоже некогда, прощайте.

Только-что я вышелъ на улицу, какъ увидѣлъ Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна съ принужденно сосредоточеннымъ выраженіемъ лица впереди, а Кузьма цемного сбоку и сзади, точно не смѣя идти съ нею рядомъ, и иногда бросая искоса взглядъ на ея лицо. Они прошли мимо, не замѣтивъ меня.

---

Я не могу ничего дѣлать и не могу ни о чемъ думать. Я прочиталъ о третьемъ плевненскомъ боѣ.

Выбыло изъ строя двѣнадцать тысячъ однихъ русскихъ и румынъ, не считая турокъ... Двѣнадцать тысячъ... эта цифра то носится передо мною въ видѣ знаковъ, то растягивается безконечной лентой лежащихъ рядомъ труновъ. Если ихъ положить плечо съ плечомъ, то составитя дорога въ восемь верстъ... Что же это такое?

Мнѣ говорили что-то про Скобелева, что онъ куда-то кинулся: что-то атаковалъ, взялъ какой-то редутъ, или его у него взяли... я не помню. Въ этомъ страшномъ дѣлѣ я помню и вижу только одно—гору труновъ, служащую пьедесталомъ грандіознымъ дѣламъ, которыя занесутся на страницы исторіи. Можетъ быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не разсуждаю о войнѣ и отношусь къ ней непосредственнымъ чувствомъ, возмущаемымъ массою пролитой крови. Быкъ, на глазахъ котораго убиваютъ подобныхъ ему быковъ, чувствуетъ, вѣроятно, что-нибудь похожее... Онъ не понимаетъ, чему его смерть послужить, и только съ ужасомъ смотритъ выкатившимися глазами на кровь и реветъ отчаяннымъ, надрывающимъ душу голосомъ.

Трусъ я или нѣтъ?

Сегодня мнѣ сказали, что я трусъ. Сказала правда, одна очень пустая особа, при которой я выразилъ опасеніе, что меня заберутъ въ солдаты, и

нежеланіе идти на войну. Ея мнѣніе не огорчило меня, но возбудило вопросъ: не трусъ ли я въ самомъ дѣлѣ? Быть можетъ, всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоитъ ли, дѣйствительно, заботиться объ какой-нибудь одной, неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?

Я не долго занимался этими вопросами. Я припомнилъ всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи — правда, не многіе — въ которыхъ мнѣ приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугаетъ меня...

---

Все новыя битвы, новыя смерти и страданія. Прочитавъ газету, я не въ состояніи ни за что взяться: въ книгѣ, вмѣсто буквъ — валящіеся ряды людей; перо кажется оружіемъ, наносящимъ бѣлой бумагѣ черныя раны. Если со мною такъ будетъ идти дальше, право, дѣло дойдетъ до настоящихъ галлюцинацій. Впрочемъ, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня отъ одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечеромъ я пришелъ къ Львовымъ и засталъ ихъ за чаемъ. Братъ и сестра сидѣли у стола,



а Кузьма быстро ходилъ изъ угла въ уголь, держась рукой за распухшее и обвязанное платкомъ лицо.

. — Что съ тобой?—спросилъ я его.

Онъ не отвѣтилъ, а только махнулъ рукой и продолжалъ ходить.

— У него разболѣлись зубы, сдѣлался флюсъ и огромный нарывъ, сказала Марья Петровна.—Я просила его во-время сходить къ доктору, да онъ не послушался, а теперь вотъ до чего дошло.

— Докторъ сейчасъ пріѣдетъ; я заходилъ къ нему,—сказалъ Василій Петровичъ.

— Очень нужно было, процѣдилъ сквозь зубы Кузьма.

— Да какже не нужно, когда у тебя можетъ сдѣлаться подкожное изліяніе? И еще ходишь, не смотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чѣмъ это иногда кончается?

— Чѣмъ бы ни кончилось, все равно,—пробормоталъ Кузьма.

— Вовсе не все равно, Кузьма Оумичъ; не говорите глупостей, тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этихъ словъ, чтобы Кузьма успокоился. Онъ даже подсѣлъ къ столу и попросилъ себѣ чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стаканъ. Когда онъ бралъ стаканъ изъ ея рукъ, его лицо приняло самое восторженное выраженіе и это выраженіе такъ мало шло къ смѣшной, безобразной опухоли щеки, что я не могъ не улыб-

нуться. Львовъ также усмѣхнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрѣла на Кузьму.

Пріѣхалъ свѣжій, здоровый, какъ яблоко, докторъ, большой весельчакъ. Когда онъ осмотрѣлъ шею больного, его обычное веселое выраженіе лица перемѣнилось на озабоченное.

— Пойдемте, пойдемте въ вашу комнату; мнѣ нужно хорошенько осмотрѣть васъ.

Я пошелъ за ними въ комнату Кузьмы.

Докторъ уложилъ его на постель и началъ осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

— Ну-съ, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у васъ товарищи, которые пожертвовали бы немного своимъ временемъ для вашей пользы?—спросилъ докторъ.

— Есть, я думаю,—отвѣтилъ Кузьма недоумѣвающимъ тономъ.

— Я попросилъ бы ихъ, сказалъ докторъ, любезно обращаясь ко мнѣ:— съ этого дня дежурить при больномъ, и, если покажется что-нибудь новое, пріѣхать за мной.

Онъ вышелъ изъ комнаты; Львовъ пошелъ проводить его въ переднюю, гдѣ они долго разговаривали о чемъ-то вполголоса, а я пошелъ къ Марьѣ Петровнѣ. Она задумчиво сидѣла, опершись головою объ одну руку и медленно шевеля другою ложечку въ чашкѣ съ чаемъ.

— Докторъ приказалъ дежурить около Кузьмы.

— Развѣ въ самомъ дѣлѣ есть опасность?—тревожно спросила Марья Петровна.

— Вѣроятно, есть; иначе, зачѣмъ были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за нимъ, Марья Петровна?

— Ахъ, конечно, нѣтъ! Вотъ и на войну не ѣздила, а ужъ приходится быть сестрой милосердія. Пойдемте къ нему; ему вѣдь очень скучно лежать одному.

Кузьма встрѣтилъ насъ улыбнувшись, на сколько ему позволила опухоль.

— Вотъ спасибо, сказалъ онъ:—а я думалъ ужъ, что вы меня забыли.

— Нѣтъ, Кузьма Ѳомичъ, теперь мы васъ не забудемъ: нужно дежурить около васъ. Вотъ до чего доводитъ непослушаніе, улыбаясь, сказала Марья Петровна.

— И вы будете?—робко спросилъ Кузьма.

— Буду. буду, только слушайте меня.

Кузьма закрылъ глаза и покраснѣлъ отъ удовольствія.

Ахъ да, сказалъ онъ вдругъ, обращаясь ко мнѣ:—дай мнѣ, пожалуйста, зеркало: вонъ на столѣ лежатъ.

Я подаль ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросилъ меня освѣтить ему и съ помощью зеркала осмотрѣлъ больное мѣсто. Послѣ этого осмотра, лицо его потемнѣло и, не смотря на то, что мы втро-



емъ старались занять его разговорами, онъ во весь вечеръ не вымолвилъ ни слова.

Сегодня мнѣ навѣрно сказали, что скоро потребуютъ ополченцевъ; я ждалъ этого, и не былъ особенно пораженъ.

Я могъ бы избѣжать участи, которой я такъ боюсь, могъ бы воспользоваться кое-какими вліятельными знакомствами и остаться въ Петербургѣ, состоя въ тоже время на службѣ. Меня «пристроили» бы здѣсь, ну, хоть для отправления писарской обязанности что ли. Но, во-первыхъ, мнѣ претитъ прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, а, во-вторыхъ что-то, не подчиняющееся опредѣленію, сидитъ у меня внутри, обсуждаетъ мое положеніе и запрещаетъ мнѣ уклониться отъ войны. «Не хорошо», говоритъ мнѣ внутренній голосъ.

Случилось то, чего я никакъ не ожидалъ.

Я пришелъ сегодня утромъ, чтобы занять мѣсто Марьи Петровны около Кузьмы. Она встрѣтила меня въ дверяхъ, блѣдная, измученная бессонной ночью и съ заплаканными глазами.

— Что такое, Марья Петровна, что съ вами?

— Тише, тише, пожалуйста, зашептала она. — Знаете, вѣдь все кончено.

— Что кончено? не умеръ же онъ?

— Нѣтъ, еще не умеръ... только надежды никакой. Оба доктора... мы вѣдь другого позвали...

Она не могла говорить отъ слезъ.

— Подите, посмотрите... Пойдемте къ нему.

— Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсѣмъ разстроите.

— Все равно... Развѣ онъ уже не знаетъ? Онъ еще вчера зналъ, когда проспль зеркало; вѣдь самъ скоро былъ бы докторомъ.

Тяжелый запахъ анатомическаго театра наполнялъ комнату, гдѣ лежалъ больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутыя по бокамъ тѣла, рѣзко обозначились подъ одѣяломъ. Глаза были закрыты, дыханіе медленно и тяжело. Мигъ показалось, что онъ похудѣлъ за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттѣнокъ и было липко и влажно.

— Что съ нимъ, спросилъ я шепотомъ.

— Пусть онъ самъ... Оставайтесь съ нимъ, я не могу.

Она ушла, закрывъ лицо руками и вздрагивая отъ сдерживаемыхъ рыданій, а я сѣлъ около постели и ждалъ, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была въ комнатѣ; только карманные часы, лежавшіе на столкѣ около постели, выстукивали свою негромкую пѣсенку, да слышалось тяжелое и рѣдкое дыханіе больного. Я смотрѣлъ на его лицо и не узнавалъ его; не то, чтобы его черты слыш-

комъ перемѣнились — нѣтъ; но я увидѣлъ его въ совершенно новомъ для меня свѣтѣ. Я зналъ Кузьму давно и былъ съ нимъ пріителемъ (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда мнѣ не приходилось такъ входить въ его положеніе, какъ теперь. Я припомнилъ его жизнь, неудачи и радости, какъ будто бы онъ были мои. Въ его любви къ Марьѣ Петровнѣ я до сихъ поръ видѣлъ больше комическую сторону, а теперь понялъ, какія муки долженъ былъ испытывать этотъ человѣкъ. Неужели онъ, въ самомъ дѣлѣ, такъ опасенъ! думалъ я. Не можетъ быть; не можетъ же человѣкъ умереть отъ глупой зубной боли. Марья Петровна плачетъ о немъ; но онъ выздоровѣетъ, и все будетъ хорошо.

Онъ открылъ глаза и увидѣлъ меня. Не перемѣняя выраженія лица, онъ заговорилъ медленно, дѣлая остановки послѣ cadaго слова.

— Здравствуй... Вотъ видишь, каковъ я.. Конецъ наступилъ. Подкрался такъ неожиданно... глупо...

— Скажи мнѣ, наконецъ, Кузьма, что съ тобой? Можетъ быть, вовсе и не такъ дурно.

— Не дурно, ты говоришь? Нѣтъ, братъ, очень дурно. На такихъ пустякахъ не ошибусь. На, смотри!

Онъ медленно, методически отвернулъ одѣяло, растегнулъ рубашку и на меня пахнуло невыносимымъ трупнымъ запахомъ. Начиная отъ шеи, на



правой сторонѣ, на пространствѣ ладони, грудь Кузьмы была черна, какъ бархатъ, слегка покрытый сизымъ налетомъ. Это была гангрена.

Вотъ уже четыре дня, какъ я не смыкаю глазъ у постели больного, то вмѣстѣ съ Марьей Петровной, то съ ея братомъ. Жизнь, кажется, едва держится въ немъ, а все не хочетъ оставить его сильнаго тѣла. Кусокъ чернаго, мертваго мяса ему вырѣзали и выбросили какъ тряпку, и докторъ велѣлъ намъ каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся послѣ операціи. Каждые два часа мы вдвоемъ или втроемъ, приступаемъ къ постели Кузьмы, повертываемъ, и приподымаемъ его огромное тѣло, обнажаемъ страшную язву и поливаемъ ее черезъ гуттаперчевую трубку водою съ карболовой кислотою. Она брызжетъ по ранѣ и Кузьма иногда находитъ силы даже улыбаться, «потому что, объясняетъ онъ, щекотно». Какъ всѣмъ рѣдко болѣвшимъ людямъ, ему очень нравится, что за нимъ ухаживаютъ, какъ за ребенкомъ, а когда Марья Петровна беретъ въ руки, какъ онъ говоритъ, «бразды правленія», т. е. гуттаперчевую трубку и начинаетъ его поливать, онъ бываетъ особенно доволенъ и говоритъ, что никто не умѣетъ дѣлать этого такъ искусно, какъ она, не смотря на то, что трубка часто дрожитъ въ ея рукахъ отъ волненія и вся постель бываетъ облита водою.

Какъ измѣнились ихъ отношенія! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чѣмъ-то недосыгаемымъ, на что онъ и смотрѣть боялся, почти не обрацавшая на него вниманія, теперь часто тихонько плачетъ, сидя у его постѣли, когда онъ спитъ, и нѣжно ухаживаетъ за нимъ; а онъ спокойно принимаетъ ея заботливость, какъ должное, и говоритъ съ нею точно отецъ съ маленькой дочерью.

Иногда онъ очень страдаетъ. Рана его горитъ, лихорадка трясетъ его... Тогда мнѣ приходятъ въ голову странныя мысли. Кузьма кажется мнѣ единицею, одной изъ тѣхъ, изъ которыхъ состояются десятки тысячъ, написанные въ реляціяхъ. Его болѣзнь и страданія я пробую измѣрять зло, причиняемое войной. Сколько мѹки и тоски здѣсь, въ одной комнатѣ, на одной постели, въ одной груди— и все это одна лишь капля въ морѣ горя и мукъ, испытываемыхъ огромною массою людей, которыхъ посылаютъ впередъ, ворочаютъ назадъ и кладутъ на поляхъ горами мертвыхъ и еще стонущихъ и копошащихся окровавленныхъ тѣлъ.

Я совершенно измученъ бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посядѣть за меня, а я засну хоть на два часа.

---

Я спалъ мертвымъ сномъ, прикурнувъ на маленькомъ диванчикѣ и проснулся, разбуженный толч-

ками въ плечо. «Вставайте, вставайте!» говорила Марья Петровна. Я вскочилъ и въ первую минуту ничего не понималъ. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

— Пятна, новыя пятна! разобралъ я наконецъ.

— Какія пятна, гдѣ пятна?

— Ахъ. Боже мой, онъ ничего не понимаетъ! У Кузьмы Омича новыя пятна показались. Я уже послала за докторомъ.

— Да, можетъ быть, и пустое, сказалъ я съ равнодушiемъ только-что разбуженнаго человѣка.

— Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спалъ раскинувшись, тяжелымъ и безпокойнымъ сномъ; онъ метался головой изъ стороны въ сторону и иногда глухо стоналъ. Его грудь была раскрыта и я увидѣлъ на шей, на вершокъ ниже раны, покрытой повязкой, два новыхъ черныхъ пятнышка. Это гангрена проникла дальше подъ кожу, распространилась подъ ней и вышла въ двухъ мѣстахъ наружу. Хоть я и до этого мало надѣялся на выздоровленіе Кузьмы, но эти новые, рѣшительные признаки смерти, заставили меня поблѣднѣть.

Марья Петровна сидѣла въ углу комнаты, опустивъ руки на колѣни, и молча смотрѣла на меня отчаянными глазами.

— Да вы не приходите въ отчаяніе, Марья Петровна. Приѣдетъ докторъ, посмотритъ; можетъ быть.



еще не все кончено. Можетъ быть, мы еще выручимъ его.

— Нѣтъ, не выручимъ, умереть, шентала она.

— Ну, не выручимъ, умереть, отвѣчалъ я ей также тихо:—для всѣхъ насъ, конечно, это большое горе, но нельзя же такъ убиваться: вѣдь вы въ эти дни на мертвеца стали похожи.

— Знаете ли вы, какую муку я испытываю въ эти дни? И сама не могу объяснить себѣ, отчего это. Я вѣдь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю такъ, какъ онъ меня, а умереть онъ—сердце у меня разорвется. Все мнѣ будетъ вспоминаться его пристальный взглядъ, его постоянное молчаніе при мнѣ, не смотря на то, что онъ умѣлъ говорить и любилъ говорить. Навсегда останется въ душѣ упрекъ, что не пожалѣла я его, не оцѣнила его ума, сердца, его привязанности. Можетъ быть, это и смѣшно вамъ покажется, но теперь меня постоянно мучитъ мысль, что люби я его—жили бы мы совсѣмъ иначе, все бы иначе случилось и этого страшнаго, нелѣпаго случая, могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на днѣ души все что-то повторяетъ: виновата, виновата, виновата.

Тутъ я взглянулъ на больного, боясь, что онъ проснется отъ нашего шепота, и увидѣлъ перемѣну въ его лицѣ. Онъ проснулся и слышалъ, что говорить Марья Петровна, но не хотѣлъ показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорѣлись, все лицо

точно освѣтило солнцемъ, какъ освѣщается мокрый и печальный лугъ, когда раздвинутся тучи, нависшія надъ нимъ и дадутъ выглянуть солнышку. Должно быть, онъ забылъ и болѣзнь, и страхъ смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками изъ закрытыхъ дрожащихъ вѣкъ. Марья Петровна смотрѣла на него нѣсколько мгновеній какъ будто испуганно, потомъ покраснѣла, нѣжное выраженіе мелькнуло на ея лицѣ и, наклонясь надъ бѣднымъ полутрупомъ, она поцѣловала его.

Тогда онъ открылъ глаза. «Боже мой, какъ мнѣ не хочется умирать!» проговорилъ онъ. И въ комнатѣ вдругъ раздались странные, тихіе, хлипающіе звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видѣлъ этого человѣка плачущимъ.

Я ушелъ изъ комнаты. Я самъ чуть было не разревѣлся.

Мнѣ тоже не хочется умирать, и всѣмъ этимъ тысячамъ тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утѣшеніе нашлось въ послѣднія минуты, а тамъ? Кузьма, вмѣстѣ съ страхомъ смерти и физическими страданіями, испытываетъ такое чувство, что врядъ ли онъ промѣнилъ бы свои теперешнія минуты на какія-нибудь другія изъ своей жизни. Нѣтъ, это совсѣмъ не то! Смерть всегда будетъ смертию, но умереть среди близкихъ и любящихъ, или валяясь въ грязи и собственной крови, ожидая, что вотъ-

вотъ прїѣдутъ и добьютъ, или наѣдутъ пушки и раздавятъ какъ червяка...

— Я вамъ скажу откровенно, говорилъ мнѣ докторъ въ передней, надѣвая шубу и калоши: — что въ подобныхъ случаяхъ, при госпитальномъ леченїи, умираютъ девяносто девять изъ ста. Я надѣюсь только на тщательный уходъ, на прекрасное расположеніе духа больного и на его горячее желаніе выздоровѣть.

— Всякій больной жемаетъ выздоровѣть, докторъ.

— Конечно, но у вашего товарища есть нѣкоторыя усиливашія обстоятельства, сказалъ докторъ съ улыбкой. — И такъ, сегодня вечеромъ мы сдѣлаемъ операцию: прорѣжемъ ему новое отверстіе, вставимъ дренажи, чтобы лучше дѣйствовать водою, и будемъ надѣяться.

Онъ пожалъ мнѣ руку, замахнулъ свою медвѣжью шубу и поѣхалъ по визитамъ, а вечеромъ явился съ инструментами.

— Можетъ быть, угодно вамъ, мой будущій collega, для практики сдѣлать операцию? обратился онъ къ Львову.

Львовъ кивнулъ головою, засучилъ рукава и съ серьезно мрачнымъ выраженіемъ лица приступилъ къ дѣлу. Я видѣлъ, какъ онъ запустилъ въ рану какой-то удивительный инструментъ съ трехгран-



нымъ остриемъ, видѣлъ, какъ острие пронизало тѣло, какъ Кузьма вцѣпился руками въ постель и защекалъ зубами отъ боли.

— Ну, не бабничай, угрюмо говорилъ ему Львовъ, вставляя дренажъ въ новую ранку.

— Очень больно? ласково спросила Марья Петровна.

— Не такъ больно, голубушка, а ослабѣлъ я, измучался.

Положили повязки, дали Кузьмѣ вина, и онъ успокоился. Докторъ уѣхалъ, Львовъ ушелъ въ свою комнату заниматься, а мы съ Марьей Петровной стали приводить комнату въ порядокъ.

— Поправьте одѣяло, проговорилъ Кузьма ровнымъ, беззвучнымъ голосомъ.—Дуетъ.

Я началъ поправлять ему подушки и одѣяло, но его собственнымъ указаніямъ, которыя онъ дѣлалъ очень придирчиво, увѣряя, что гдѣ-то около лѣваго локтя есть маленькая дырочка, въ которую дуетъ, и прося лучше подсунуть одѣяло. Я старался сдѣлать это какъ можно лучше, но, не смотря на все мое усердіе, Кузьмѣ все-таки дуло, то въ бокъ, то въ ноги.

— Неумѣлый ты какой, тихо брюзжалъ онъ.— Опять въ спину дуетъ. Пусть она.—Онъ взглянулъ на Марью Петровну, и мнѣ стало очень ясно, почему я не съумѣлъ угодить ему.

Марья Петровна поставила стклянку съ лекар-

ствомъ, которую держала въ рукахъ, и подошла къ постели.

— Поправить?

— Поправьте... Вотъ хорошо... тепло!

Онъ смотрѣлъ на нее, пока она управлялась съ одѣяломъ, потомъ закрылъ глаза и съ дѣтски-счастливимъ выраженіемъ на измученномъ лицѣ заснулъ.

— Вы пойдете домой? — спросила Марья Петровна.

— Нѣтъ, я выспался отлично и могу сидѣть; а, впрочемъ, если я не нуженъ, то уйду.

— Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Братъ постоянно сидитъ за своими книгами, а миѣ одной быть съ больнымъ, когда онъ спитъ, и думать о его смерти такъ горько, такъ тяжело.

— Будьте тверды, Марья Петровна; сестрѣ милосердія тяжелыя мысли и слезы воспрещаются.

— Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердія. Все-таки, не такъ тяжело будетъ ходить за ранеными, какъ за такимъ близкимъ человекомъ.

— А вы все-таки ѣдете?

— Ёду, конечно. Выздоровѣтъ онъ или умретъ, все равно поѣду. Я уже сжплась съ этой мыслью, и не могу отказаться отъ нея. Хочется хорошаго дѣла, хочется оставить себѣ память о хорошихъ, свѣтлыхъ дняхъ.

— Ахъ, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свѣту на войнѣ.

— Отчего? Работать буду—вотъ вамъ и свѣтъ. Хоть чѣмъ-нибудь принять участіе въ войнѣ мнѣ хочется.

— Принять участіе! да развѣ она не возбуждаетъ въ васъ ужаса? Вы ли говорите мнѣ это!

— Я говорю. Кто вамъ сказалъ, что я люблю войну? Только... какъ бы это вамъ рассказать. Война—зло, и вы, и я, и очень многіе такого мнѣнія, но вѣдь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все-равно, она будетъ, и если не пойдете драться вы, возьмутъ другого и все-таки человѣкъ будетъ изуродованъ или измученъ походомъ. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вотъ что: по моему, война есть *общее* горе, *общее* страданіе, и уклоняться отъ нея, можетъ быть, и позволительно, но мнѣ это не нравится.

Я молчалъ. Слова Марьи Петровны яснѣе выразили мое смутное отвращеніе къ уклоненію отъ войны. Я самъ *чувствовалъ* то, что она чувствуетъ и думаетъ, только *думалъ* иначе.

— Вотъ вы, кажется, все думаете, какъ бы постараться остаться здѣсь, продолжала она: — если васъ заберутъ въ солдаты. Мнѣ братъ говорилъ объ этомъ. Вы знаете, я васъ очень люблю, какъ хорошаго человѣка, но эта черта мнѣ въ васъ же нравится.

— Что же дѣлать, Марья Петровна! разные

взгляды. За что я буду тутъ отвѣчать? развѣ я войну началъ?

— Не вы, да никто изъ тѣхъ, кто теперь умеръ на ней и умираетъ. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могутъ, а вы можете. Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые пожалѣютъ послать знакомаго человѣка на войну. Я не беру на себя рѣшать, можетъ быть, это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

---

Наконецъ, вотъ оно. Сегодня я одѣлся въ сѣрую шинель и уже вкушалъ корни учешія... ружейнымъ приѣмамъ. У меня и теперь раздается въ ушахъ:

— Смирно!.. Ряды вздвой! Слушай, на крауль!

И я стоялъ смирно, вздвигалъ ряды и брякалъ ружьемъ. И черезъ нѣсколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздвиганья рядовъ, меня назначать въ партію, насъ посадятъ въ вагоны, повезутъ, распредѣлятъ по полкамъ, поставятъ на мѣста, оставшіяся послѣ убитыхъ...

— Ну, да это все-равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себѣ, я плыву по теченію; теперь са-



мое лучшее не думать, не рассуждать, а безъ критики принимать всякія случайности жизни и развѣ только выть, когда больно...

Меся помѣстили въ особое отдѣленіе казармы для привилегированныхъ, которое отличается тѣмъ, что въ немъ не нары, а кровати, но въ которомъ, все-таки, достаточно грязно. У непривилегированныхъ новобранцевъ совсѣмъ скверно. Живутъ они, до распредѣленія по полкамъ, въ огромномъ сараѣ, бывшемъ манежѣ: его раздѣлили палатами на два этажа, патащили соломы и предоставили временнымъ обитателямъ устроиваться, какъ знаютъ. На проходѣ, идущемъ посреднѣ манежа, снѣгъ и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смѣшались съ соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и въ сторонѣ отъ него солома не особенно чиста. Нѣсколько сотъ человѣкъ стоятъ, сидятъ и лежатъ на ней группами, состоящими изъ земляковъ: настоящая этнографическая выставка. И я разыскалъ земляковъ по уѣзду. Высокіе, неуклюжіе хохлы въ новыхъ свиткахъ и смушковыхъ шапкахъ, лежали тѣсной кучкой и молчали. Ихъ было человѣкъ десять.

— Здравствуйте, братцы.

— Здравствуйте.

— Давно изъ дому?

— Та вже дві неділи. А ви якій-таки будете? спросилъ меня одинъ изъ нихъ. Я назвалъ свое имя, оказавшееся всѣмъ имъ извѣстнымъ. Встрѣ-

тивъ земляка, они немного оживились и разговорились.

— Скучно? спросилъ я.

— Такъ якъ же не скучно! Дуже моторно. Коли-бъ ще годували, а то така страва, що и Боже мій!

— Куда-жь васъ теперь?

— А хто ёго зна! Кажуть, пидъ турку...

— А хочется на войну?

— Чого я тамъ не бчивъ?

Я началъ спрашивать о нашемъ городѣ, и воспоминанія о домѣ развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбѣ, для которой была продана пара воловъ и вскорѣ послѣ которой молодого забрали въ солдаты, о судебномъ приставѣ «сто чортивъ ему коннихъ у горло», о томъ, что мало становится земли, и потому изъ слободы Марковки въ этомъ году поднялось нѣсколько сотъ человѣкъ идти на Амуръ... Разговоръ держался только на почвѣ прошедшаго; о будущемъ, о тѣхъ трудахъ, опасностяхъ и страданіяхъ, которые ждали всѣхъ насъ, не говорилъ никто. Никто не интересовался узнать о туркахъ, о болгарахъ, о дѣлѣ, за которое шель умирать.

Проходившій мимо пьяненькій солдатикъ мѣстной команды остановился противъ нашей кучки, и когда я снова заговорилъ о войнѣ, авторитетно заявилъ:

— Этого самага турку битъ слѣдуетъ.

— Слѣдуетъ? спросилъ я, невольно улыбувшись увѣренности рѣшенія.

— Такъ точно, баринъ, чтобъ и званія его не осталось, поганого. Потому, отъ его бунту сколько намъ всѣмъ муки принять нужно! Ежели бы онъ, напримѣръ, безъ бунту, чтобы благородно, смирно... былъ бы я теперь дома, при родителяхъ, въ лучшемъ видѣ. А то онъ бунтуетъ, а намъ огорченіе. Это вы, будьте спокойны, вѣрно я говорю. Папирочку пожалуйста, баринъ! вдругъ оборвалъ онъ, вытянувшись передо мной во фронтъ и приложивъ руку къ козырьку.

Я дамъ ему папиросу, простился съ земляками и пошелъ домой, такъ какъ наступило время, свободное отъ службы.

— Онъ бунтуетъ — а намъ огорченіе, звенѣлъ у меня въ ушахъ пьяный голосъ. Коротко и неясно, а между тѣмъ, дальше этой фразы не пойдешь.

---

У Львовыхъ тоска, уныніе. Кузьма очень плохъ, хотя рана его и очистилась: страшный жаръ. бредъ. стоны. Братъ и сестра не отходили отъ него всѣ дни, пока я былъ занятъ поступленіемъ на службу и ученьями. Теперь, когда они знаютъ, что я отираюсь, сестра стала еще грустнѣе, а братъ еще угрюмѣе.

— Въ формѣ уже! проворчалъ онъ, когда я по-

здоровался съ нимъ въ комнатѣ, закуреной и зава-  
ленной книгами.—Эхъ вы, люди, люди...

— Что же мы за люди, Василии Петровичъ?

— Заниматься вы мнѣ не даете—вотъ что! И  
такъ времени совсѣмъ нѣтъ, кончить курса не дадутъ,  
пошлютъ на войну; и такъ многого узнать не при-  
дется, а тутъ еще вы съ Кузьмой.

— Ну, положимъ, Кузьма умираетъ, а я-то что?

— Да вы развѣ не умираете? Не убьютъ  
васъ—съ ума сойдете, или пулю въ лобъ пустите.  
Развѣ я не знаю васъ и развѣ не было примѣровъ?

— Какихъ примѣровъ? развѣ вы знаете, что-  
нибудь подобное? Расскажите, Василии Петровичъ!

— Отстаньте вы, очень нужно васъ еще пуще  
разогорчать. Вредно вамъ. И я ничего не знаю, это  
я такъ сказалъ.

Но я присталъ къ нему; и онъ рассказалъ мнѣ  
свой «примѣръ».

— Мнѣ одинъ раненый офицеръ, артиллеристъ,  
разсказывалъ. Вышли они только что изъ Киши-  
нева, въ апрѣлѣ, тотчасъ послѣ объявленія войны.  
Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась  
одна грязь, такая, что орудія и повозки уходили  
въ нее по оси. До того дошло, что лошади не бе-  
рутъ; прицѣпили канаты, поѣхали на людяхъ. На  
второмъ переходѣ дорога ужасная: на семнадцати  
верстахъ двѣнадцать горъ, а между ними все топь.  
Вѣхали и стали. Дождь хлещетъ, на тѣлѣ ни нитки  
сухой, проголодались, измучались, а тащить нужно.



Ну, конечно, тянеть-тянеть человекъ, и упадетъ лицомъ въ грязь безъ памяти. Наконецъ, добрались до такой трясины, что двинуться впередъ было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тутъ было, офицеръ мой говоритъ, вспомнить страшно!» Докторъ молодой былъ у нихъ, послѣдняго выпуска, нервный человекъ. Плачетъ. «Не могу, говоритъ, я вынести этого зрѣлища, уѣду впередъ». Уѣхалъ. Нарубили солдаты вѣтокъ, сдѣлали чуть не цѣлую плотину и, наконецъ, сдвинулись съ мѣста. Бывезли батарею на гору; смотря, а на деревѣ докторъ виситъ... Вотъ вамъ примѣръ. Не могъ человекъ вида мученій вынести, такъ гдѣ-жъ вамъ самыя-то мѹки одолѣть...

— Василий Петровичъ, да не легче ли самому мѹки нести, чѣмъ казниться, какъ этотъ докторъ?

— Ну, не знаю, что хорошаго, что васъ самихъ въ дышло запрягутъ.

— Совѣсть мучить не будетъ, Василий Петровичъ.

— Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы съ сестрой объ этомъ поговорите: она насчетъ этихъ тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкамъ разобрать или о Достоевскомъ поговорить, все можетъ; а ужъ эта штука въ какомъ-нибудь романѣ навѣрно разобрана. Прощайте, философъ.

Онъ добродушно разсмѣялся своей шуткѣ и протянулъ мнѣ руку.

— Вы куда?

— На Выборгскую, въ клинику.

Я пошелъ въ комнату Кузьмы. Онъ не спалъ и чувствовалъ себя лучше обыкновеннаго, какъ объяснила мнѣ Марья Петровна, неизмѣнно сидѣвшая около постели. Онъ еще не видѣлъ меня въ формѣ, и мой видъ непріятно поразилъ его.

— Тебя здѣсь оставляютъ, или ушлиютъ въ армію? спросилъ онъ.

— Отправятъ; развѣ ты не знаешь?

Онъ помолчалъ.

— Зналъ, да забылъ. Я братъ, теперь вообще мало помню и соображаю... Что-жь, поѣзжай. Нужно.

— И ты, Кузьма Ѳомичъ!

— Что «и я»? Развѣ не правда? Какіе твои заслуги, чтобы тебя простили? Иди, помпрай. Нужнѣе тебя есть люди, работающіе тебя, и тѣ идутъ... Поправь мнѣ подушку... вотъ такъ.

Онъ говорилъ тихо и раздраженно, какъ будто мстя кому-то за свою болѣзнь.

— Все это вѣрно, Кузя, да развѣ я и не иду? Развѣ я протестую лично за себя? Если бы это было такъ, я бы остался здѣсь безъ дальнихъ разговоровъ: устроить это нетрудно. Я не дѣлаю этого; меня требуютъ, и я иду. Но пусть, по крайней мѣрѣ, мнѣ не мѣшаютъ имѣть объ этомъ свое собственное мнѣніе.

Кузьма лежалъ, неподвижно устремивъ глаза въ потолокъ, какъ будто не слушая меня. Наконецъ, онъ медленно повернулъ ко мнѣ голову.

— Ты не прими моихъ словъ за что-нибудь настоящее, проговорилъ онъ. — Я измученъ и раздраженъ и, право, не знаю, за что придираюсь къ людямъ. Ужъ очень я сталъ сварливъ; должно быть, скоро помирать пора.

— Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживаетъ, все идетъ къ лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить слѣдуетъ.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мнѣ вдругъ вспомнилось, какъ она сказала мнѣ двѣ недѣли тому назадъ: «нѣтъ, не выздоровѣетъ, умретъ».

— А что, если бы въ самомъ дѣлѣ ожить? Хорошо бы было, слабо улыбнувшись сказалъ Кузьма. — Тебя ушлиють драться, и мы съ Марьей Петровной поѣдемъ: она милосердной сестрицей, а я врачомъ. И буду я около тебя, раненаго, возиться, какъ ты теперь около меня.

— Будетъ болтать, Кузьма Фомичъ, сказала Марья Петровна!—вредно вамъ много говорить, да и пора начать ваше мученіе.

Онъ отдался въ наше распоряженіе; мы раздѣли его, сняли повязки и принялись за работу надъ огромной истерзанной грудью. И когда я направлялъ струю воды на обнаженные кровавыя мѣста, на показавшуюся и блестящую какъ перламутръ ключицу, на вену, проходившую черезъ всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живомъ человѣкѣ, а анатомическій препаратъ, я

думаль о другихъ ранахъ, гораздо болѣе ужасныхъ, и качествомъ, и подавляющимъ количествомъ, и сверхъ того, нанесенныхъ не слѣпымъ безсмысленнымъ случаемъ, а сознательными дѣйствіями людей.

---

Я не пишу въ эту книжку ни слова о томъ, что дѣлается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встрѣчаетъ и провожаетъ меня мать, какое-то тяжелое молчаніе, сопровождающее мое присутствіе за общимъ столомъ, предупредительная доброта братьевъ и сестеръ, все это тяжело видѣть и слышать, а писать объ этомъ еще тяжелѣе. Когда подумаешь, что черезъ недѣлю придется лишиться всего самаго дорогаго въ мірѣ, слезы подступаютъ подъ горло...

---

Вотъ, наконецъ, и прощанье. Завтра утромъ, чуть свѣтъ, наша партія отправляется по желѣзной дорогѣ. Миѣ позволили провести послѣднюю ночь дома, и я сижу въ своей комнатѣ одинъ въ послѣдній разъ. Въ послѣдній разъ! Знаетъ ли кто-нибудь, неиспытавшій такого послѣдняго раза, всю горечь этихъ двухъ словъ? Въ послѣдній разъ разошлась семья, въ послѣдній разъ я пришелъ въ эту маленькую комнату и сѣлъ къ столу, освѣщенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и



бумагой. Цѣлый мѣсяць я не прикасался къ нимъ. Въ послѣдній разъ я беру въ руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежитъ мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вмѣсто того, чтобы кончать ее, ты идешь, съ тысячами тебѣ подобныхъ, на край свѣта, потому что исторія понадобилась твои физическія силы. Объ умственныхъ—забудь: онѣ никому не нужны. Что до того, что многіе годы ты воспитывалъ ихъ, готовился куда-то примѣнить ихъ? Огромному, невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что можешь сдѣлать противъ такого желанія ты,

...ты—палець отъ ноги?..

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть: завтра нужно встать очень рано.

---

Я просилъ, чтобы меня никто не провожалъ на желѣзную дорогу. Дальніе проводы—лишнія слезы. Но когда я уже сидѣлъ въ вагонѣ, набитомъ людьми, я ощутилъ такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдалъ бы все ни свѣтѣ, чтобъ хоть нѣсколько минутъ провести съ кѣмъ-нибудь изъ близкихъ. Наконецъ, настала назначенный часъ, но поѣздъ не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, часъ, полтора, а онъ все еще стоялъ. Въ эти полтора часа я успѣлъ бы побывать

дома. . Можетъ быть, кто-нибудь не утерпитъ и пріѣдетъ... Нѣтъ, вѣдь всѣ думаютъ, что поѣздъ уже ушелъ; никто не станетъ разсчитывать на опозданіе. А все-таки, можетъ быть... И я смотрѣлъ въ ту сторону, откуда могли ко мнѣ прійти. Никогда время не тянулось такъ долго.

Рѣзкіе звуки рожка, игравшаго сборъ, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, выльзшіе изъ вагоновъ и толпившіеся на платформѣ, торопились усаживаться. Сейчасъ тронется поѣздъ, и я никого не увижу.

Но я увидѣлъ. Львовы, братъ и сестра, почти бѣжали къ вагону, и я ужасно обрадовался имъ. Не помню, что я говорилъ имъ; не помню, что они мнѣ говорили, кромѣ одной только фразы: «Кузьма умеръ».

---

На этой фразѣ кончаются замѣтки въ записной книжкѣ.

Широкое снѣжное поле. Бѣлые холмы окружаютъ его, на нихъ бѣлыя же, запылевшія деревья. Небо пасмурно, низко; въ воздухѣ чувствуется оттепель. Трещать ружья, слышатся частые удары пушечныхъ выстрѣловъ; дымъ покрываетъ одинъ изъ холмовъ и медленно сползаетъ съ него на поле. Сквозь него чернѣетъ движущаяся масса. Когда вступишь въ нее пристальнѣе, то видишь, что она состоитъ изъ отдѣльныхъ черныхъ точекъ. Многія изъ

этихъ точекъ уже неподвижны, но другія все двигаются и двигаются впередъ, хотя имъ еще далеко до цѣли, видной только по массѣ дыма, несущагося съ нею, и хотя ихъ число съ каждымъ мгновениемъ стаивается все меньше и меньше.

Батальонъ резерва, лежавшій въ снѣгу, не составивъ ружья въ козлы, а держа ихъ въ рукахъ, слѣдилъ за движеніемъ черной массы, всею тысячею своихъ глазъ.

— Пошли, братцы, пошли... Эхъ, не дойдутъ!

— И чего это только насъ держатъ? съ подмогой живо бы взяли.

— Жизнь тебѣ надоѣла, что ли? угрюмо сказалъ пожилой солдатъ изъ «билетныхъ»:—лежи, коли положили, да благодари Бога, что цѣль.

— Да я, дяденька, цѣль буду, не сомнѣвайтесь, отвѣчалъ молодой солдатъ съ веселымъ лицомъ.— Я въ четырехъ дѣлахъ былъ, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потомъ—ни Боже мой! Вотъ барину нашему впервой, такъ онъ, небось, у Бога прощенья проситъ. Баринъ, а баринъ?

— Чего тебѣ?—отозвался худощавый солдатъ съ черной бородкой, лежавшій возлѣ.

— Вы, баринъ, глядите веселѣе!

— Да я, голубчикъ, и такъ не скучаю.

— Вы меня держитесь, ежели что. Ужъ я бывалъ, знаю. Ну, да у насъ баринъ молодець, не побѣгитъ. А то былъ такой до васъ вольноопредѣ-

ляющій, такъ тотъ, какъ пошли мы, какъ зачали пули летать, бросилъ онъ и сумки, и ружье, и побѣгъ, а пуля ему въ догонку, да въ спину. Такъ нельзя, потому—присяга.

— Не бойся, не побѣгу, тихо отвѣчалъ «баринъ»...—Отъ пули не убѣжишь.

— Извѣстно, гдѣ отъ ей убѣжать. Она шельма... Батюшки свѣты! никакъ наши-то стали!

Черная масса остановилась и задымилась выстрѣлами.

— Ну, палить стали, сейчасъ назадъ... Нѣтъ, впередъ пошли. Выручай, мать Пресвятая Богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненыхъ-то валить, Господи! И не подбираютъ.

— Пуля! пуля! раздался вокругъ говоръ. Въ воздухъ, дѣйствительно, что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетѣвшая черезъ резервы. Вслѣдъ за ней полетѣла другая, третья. Батальонъ оживился.

— Носилки! закричалъ кто-то.

Шальная пуля сдѣлала свое дѣло. Четверо солдатъ съ посылками бросились къ раненому. Вдругъ, на одномъ изъ холмовъ, въ сторонѣ отъ пункта, на который велась атакка, показались маленькія фигурки людей и лошадей и тотчасъ же оттуда вылетѣлъ круглый и плотный клубъ дыма, бѣлаго какъ снѣгъ.

— Въ насъ подлець мѣтитъ! закричалъ веселый солдатъ. Завизжала и заскрежетала граната, раз-



дался выстрѣлъ. Веселый солдатъ уткнулся лицомъ въ снѣгъ. Когда онъ поднялъ голову, то увидѣлъ, что «баринъ» лежитъ рядомъ съ нимъ ничкомъ, раскинувъ руки и неестественно изогнувъ шею. Другая шальная пуля пробила ему надъ правымъ глазомъ огромное черное отверстіе.



В С Т Р Ъ Ч А.

1879

## ВСТРѢЧА.

---

На десятки верстъ протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса луннаго свѣта; остальное море было черно; до стоявшаго на высотѣ доходилъ правильный, глухой шумъ раскатывавшихся по песчаному берегу волнъ; еще болѣе черные, чѣмъ самое море, силуэты судовъ покачивались на рейдѣ; одинъ огромный пароходъ (вѣроятно, «англійскій», подумалъ Василій Петровичъ) помѣстился въ свѣтлой полосѣ луны и шигѣлъ своими парами, выпускающая ихъ клочковатой, тающей въ воздухѣ струей; съ моря несло сырѣмъ и соленымъ воздухомъ; Василій Петровичъ, до сихъ поръ не видавшій ничего подобнаго, съ удовольствіемъ смотрѣлъ на море, лунный свѣтъ, пароходы, корабли и радостно, въ первый разъ въ жизни, вдыхалъ морской воздухъ. Онъ долго наслаждался новыми для него ощуще-



ніями, повернувшись спиной къ городу, въ которой прїѣхаль только сегодня и въ которомъ долженъ былъ жить многіе и многіе годы. За нимъ пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская рѣчь, то чинные и тихіе голоса мѣстныхъ почтенныхъ особъ, то щебетанье барышень, громкіе и веселые голоса взрослыхъ гимназистовъ, ходившихъ кучками около двухъ или трехъ изъ нихъ. Взрывъ хохота въ одной изъ такихъ группъ заставилъ Василя Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; одинъ изъ юношей говорилъ что-то молоденькой гимназисткѣ; товарищи шумѣли и перебивали его горячую и, по видимому, оправдательную рѣчь.

— Не вѣрьте, Нина Петровна! Все вретъ! Выдумываетъ!

— Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виновать!

— Если вы, Шевыревъ, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... принужденно чиннымъ молодымъ голосомъ заговорила дѣвушка. Конца Василя Петровичъ не дослышалъ, потому что гурьба прошла мимо. Черезъ полминуты изъ темноты вновь послышался взрывъ смѣха.

— Вотъ она, моя будущая нива, на которой я, какъ скромный пахарь, буду работать, подумалъ Василя Петровичъ, во-первыхъ, потому, что онъ былъ назначенъ учителемъ въ мѣстную гимназію, а во-вторыхъ, потому, что любилъ фигуральную

форму мысли, даже когда не высказывалъ ее вслухъ. — Да, придется работать на этомъ скромномъ поприщѣ, думалъ онъ, вновь садясь на скамью лицомъ къ морю. — Гдѣ мечты о профессурѣ, о публицистикѣ, о громкомъ имени? Не хватило пороху, братъ Василій Петровичъ, на всѣ эти затѣи; попробуй-ка здѣсь поработать!

И красивыя и пріятныя мысли зашевелились въ головѣ новаго учителя гимназіи. Онъ думалъ о томъ, какъ онъ будетъ съ первыхъ классовъ гимназіи угадывать «искру Божію» въ мальчикахъ; какъ будетъ поддерживать натуры, «стремящіяся сбросить съ себя иго тьмы»; какъ подъ его надзоромъ будутъ развиваться молодя, свѣжія силы, «чуждыя житейской грязи»; какъ, наконецъ, изъ его учениковъ современемъ могутъ выйти замѣчательные люди... Даже такія картины рисовались въ его воображеніи: сидитъ онъ, Василій Петровичъ, уже старѣй, сѣдой учитель, у себя, въ своей скромной квартирѣ и по-посѣщаютъ его бывшіе его ученики, и одинъ изъ нихъ профессоръ такого-то университета, извѣстный «у насъ и въ Европѣ», другой—писатель, знаменитый романистъ, третій—общественный дѣятель, тоже извѣстный. И всѣ они относятся къ нему съ уваженіемъ. «Это ваши добрыя сѣмца, запавшія въ мою душу, когда я былъ мальчикомъ, сдѣлали изъ меня человѣка, уважаемый Василій Петровичъ», говоритъ общественный дѣятель и съ чувствомъ жметъ руку своему старому учителю...

Впрочемъ, Василій Петровичъ не долго занимался такими возвышенными предметами; скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшіяся его настоящаго положенія. Онъ вынулъ изъ кармана новыи бумажникъ и, пересчитавъ свои деньги, началъ размышлять о томъ, сколько у него останется за покрытіемъ всѣхъ необходимыхъ расходовъ. «Какъ жаль, что я такъ необдуманно тратилъ деньги дорогою, подумалъ онъ. — Квартира... ду, положимъ, рублей двадцать въ мѣсяцъ, столъ, бѣлье, чай, табакъ... Тысячу рублей въ полгода, во всякомъ случаѣ, сберегу. Навѣрно, здѣсь можно будетъ достать уроки по хорошей цѣнѣ, этакъ рубля по четыре, по пяти»... Чувство довольства охватило его, и ему захотѣлось полѣзть въ карманъ, гдѣ лежали два рекомендательныя письма на имя мѣстныхъ тузовъ, и въ двадцатый разъ перечестъ ихъ адреса. Онъ вынулъ письма, бережно развернулъ бумагу, въ которой они были завернуты, но прочестъ адреса ему не удалось, потому что лунный свѣтъ не былъ достаточно силенъ, чтобы доставить Василію Петровичу это удовольствіе. вмѣстѣ съ письмами была завернута фотографическая карточка. Василій Петровичъ повернулъ ее прямо къ мѣсяцу и старался разсмотрѣть знакомыя черты. «О моя Лиза!» проговорилъ онъ почти вслухъ и вздохнулъ не безъ пріятнаго чувства. Лиза была его невѣста, оставшаяся въ Петербургѣ и ожидавшая, пока Василій Петровичъ не скопитъ тысячи рублей, которую мо-

лодая чета считала необходимою для первоначальнаго обзаведенія.

Вздохнувъ, онъ спряталъ въ лѣвый боковой карманъ карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще пріятнѣе, чѣмъ даже мечты объ общественномъ дѣятелѣ, который пріѣдетъ къ нему благодарить за посѣянные въ его сердцѣ добрыя сѣмена.

Море шумѣло далеко внизу, вѣтеръ становился свѣжѣе. Англійскій пароходъ вышелъ изъ полосы луннаго свѣта, и она блестѣла сплошная и переливалась тысячами матово-блестящихъ всплесковъ, уходя въ безконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотѣлось встать со скамьи, оторваться отъ этой картины и идти въ тѣсный номеръ гостиницы, въ которомъ остановился Василій Петровичъ. Однако, было уже поздно; онъ всталъ и пошелъ вдоль по бульвару.

Господинъ, въ легкомъ костюмѣ изъ шелковой сырцовой матеріи и въ соломенной шляпѣ, съ накрученнымъ на тулью кисейнымъ полотешцемъ (лѣтній костюмъ мѣстныхъ щеголей), всталъ со скамейки, мимо которой проходилъ Василій Петровичъ, и сказалъ:

— Позвольте закурить.

— Сдѣлайте одолженіе, отвѣтилъ Василій Петровичъ. Красный отблескъ озарилъ знакомое ему лицо.



— Николай, другъ мой! ты ли это?

— Василий Петровичъ?

— Онъ самый... Ахъ, какъ я радъ! Вотъ не думалъ, не гадалъ! говорилъ Василий Петровичъ, заключая друга въ объятія и троекратно лобзая его.—Какими судьбами?

— Очень просто, на службѣ. А ты какъ?

— Я учителемъ гимназiи сюда назначень. Только что прiѣхалъ.

— Гдѣ же ты остановился? Если въ гостиницѣ, ѣдемъ, пожалуйста, ко мнѣ. Я очень радъ видѣть тебя. У тебя вѣдь нѣтъ здѣсь знакомыхъ? Поѣдемъ ко мнѣ, поужинаемъ, поболтаемъ, вспомнимъ старину.

— Поѣдемъ, поѣдемъ, согласился Василий Петровичъ.— Я очень, очень радъ. Прiѣхалъ сюда какъ въ пустыню—и вдругъ такая радостная встрѣча. Извощикъ! закричалъ онъ.

— Не нужно, не кричи. Сергѣй, давай! громко и спокойно произнесъ другъ Василия Петровича. Къ тротуару подкатила щегольская коляска; хозяинъ вскочилъ въ нее. Василий Петровичъ стоялъ на тротуарѣ и въ недоумѣнiи смотрѣлъ на экипажъ, вороныхъ коней и толстаго кучера.

— Кудряшевъ, эти лошади—твой?

— Мои, мои. Что, не ожидалъ?

— Удивительно... Ты ли это?

— Кто же другой, какъ не я? Ну, полѣзай въ коляску, еще успѣемъ поговорить.

Василій Петровичъ влѣзъ въ коляску, усѣлся рядомъ съ Кудряшевымъ, и коляска покатилаь, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василій Петровичъ сидѣлъ на мягкихъ подушкахъ и, покачиваясь, улыбаясь. «Что за притча, думалъ онъ.— Давно ли Кудряшевъ былъ бѣднѣйшимъ студентомъ, а теперь — коляска.» Кудряшевъ, положивъ вытянутыя ноги на переднюю скамейку, молчалъ и курилъ сигару. Черезъ пять минутъ экипажъ остановился.

— Ну, братецъ, выходи. Покажу тебѣ мою скромную хижину, сказалъ Кудряшевъ, сойдя съ подножки и помогая Василю Петровичу вылѣзть.

Прежде чѣмъ войти въ скромную хижину, гость окинулъ ее взглядомъ. Луна была за нею, и не освѣщала ее, поэтому онъ могъ замѣтить только, что хижина была одноэтажная, каменная, въ десять или двѣнадцать большихъ оконъ. Зонтикъ на колонкахъ съ завитками, кое-гдѣ позолоченными, висѣлъ надъ дверью изъ тяжелаго дуба съ зеркальными стеклами, бронзовой ручкой, въ видѣ птичьей лапы, держащей хрустальный многогранникъ, и блестящей мѣдной доской съ фамиліей хозяина.

— Однако, хижина у тебя, Кудряшевъ! Это не хижина, а такъ сказать, палаццо, сказалъ Василій Петровичъ, когда они вошли въ переднюю съ дубовой мебелью и зѣвшимъ черною пастью каминомъ.— Неужели собственная?

— Нѣтъ, братъ, до этого еще не дошло. На-  
нимаю. Недорого, полторы тысячи.

— Полторы! протянулъ Василий Петровичъ.

— Выгоднѣе платить полторы тысячи, чѣмъ за-  
тратить капиталъ, который можетъ дать гораздо  
большій процентъ, если не обращенъ въ недви-  
мость. Да и денегъ много нужно: вѣдь ужъ если  
строить, такъ не этакую дрянъ.

— Дрянъ! воскликнулъ въ изумленіи Василий  
Петровичъ.

— Конечно, домъ неважный. Ну, пойдѣмъ, пойдѣмъ скорѣе...

Василий Петровичъ успѣлъ уже снять пальто и  
направился за хозяиномъ. Обстановка квартиры Куд-  
ряшева дала новую пищу его удивленію. Цѣлый  
рядъ высокихъ комчатъ съ паркетными полами,  
оклеенныхъ дорогими, тисненными золотомъ, обоями;  
столовая «подъ дубъ» съ развѣшанными по стѣнамъ  
плоскими моделями дичи, съ огромнымъ рѣзнымъ  
буфетомъ, съ большимъ круглымъ столомъ, на ко-  
торый лился цѣлый потокъ свѣта изъ висячей брон-  
зовой лампы съ молочнымъ абажуромъ; залъ съ  
роялемъ, множествомъ разной мебели изъ гнутаго  
бука, диванчиковъ, скамеекъ, табуретовъ, стульевъ;  
съ дорогими литографіями и скверными олеогра-  
фіями въ раззолоченныхъ рамахъ; гостиная, какъ  
водится, съ шелковою мебелью и кучей ненуж-  
ныхъ вещей. Казалось, хозяинъ квартиры вдругъ  
разбогатѣлъ, выигралъ двѣсти тысячъ, что ли, и

на скорую руку устроилъ себѣ квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что въ карманѣ зашевелились деньги, нашедшія себѣ выходъ для покупки рояля, на которомъ, насколько зналъ Василій Петровичъ, Кудряшевъ могъ играть только однимъ пальцемъ, скверной старой картины, одной изъ десятковъ тысячъ, приписываемыхъ второстепенному фламандскому мастеру, на которую, навѣрно, никто не обращалъ вниманія, шахматовъ китайской работы, въ которые нельзя было играть— такъ они были топки и воздушны, но въ головкахъ у которыхъ было выточено по три шарика, заключенныхъ одинъ въ другой, и множества другихъ ненужныхъ вещей.

Друзья вошли въ кабинетъ. Здѣсь было удобнѣе. Большой письменный столъ, заставленный разною бронзовою и фарфоровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занималъ середину комнаты. По стѣнамъ висѣли огромные раскрашенные чертежи и географическія карты, а подъ ними стояли два низенькихъ турецкихъ дивана съ шелковыми мутаками. Кудряшевъ, обнявъ Василя Петровича за талию, подвелъ его прямо къ дивану и усадилъ на мягкихъ тюфякахъ.

— Ну, очень радъ, очень радъ встрѣтить стараго товарища, сказалъ онъ.

— Я тоже... знаешь ли, пріѣхалъ, какъ въ пу-



стыню, и вдругъ такая встрѣча! Знаешь ли, Николай Константинычъ, при видѣ тебя такъ много зашевелилось въ душѣ, такъ много воскресло въ памяти воспоминаній...

— О чемъ это?

— Какъ о чемъ? О студенчествѣ, о времени, когда жилось такъ хорошо, если не въ матеріальномъ, то въ нравственномъ отношеніи. Помнишь...

— Что помнить-то? какъ мы съ тобою собачью колбасу жрали? Будетъ, братъ, надоѣло... Сигару хочешь? Regalia Impregialia или какъ тамъ ее: знаю только, что полтинникъ штука.

Василій Петровичъ взялъ изъ ящичка предлагаемую драгоценность, вынулъ изъ кармана ножичекъ, обрѣзалъ кончикъ сигары, закурилъ ее и сказалъ:

— Николай Константинычъ, я рѣшительно какъ во снѣ. Какихъ-нибудь нѣсколько лѣтъ — и у тебя такое мѣсто.

— Что мѣсто! Мѣсто, братъ, плюнь да отойди.

— Какъ же это? Да ты сколько получаешь?

— Какихъ? Жалованья?

— Ну, да, содержанія.

— Жалованья получаю я, инженеръ губернской секретарь Кудряшевъ 2-й—тысячу шестьсотъ рублей въ годъ.

У Василя Петровича вытянулось лицо.

— Какъ же это? Откуда это все?

— Эхъ, братъ, простота ты! Откуда? Изъ воды и земли, изъ моря и суши. А, главное, вотъ откуда.

И онъ ткнулъ себя указательнымъ пальцемъ въ лобъ.

— Видишь вонъ эти картинки, что по стѣнамъ висятъ?

— Вижу, отвѣтилъ Василій Петровичъ:—что же дальше?

— Знаешь ли, что это?

— Нѣтъ, не знаю. Василій Петровичъ всталъ съ дивана и подошелъ къ стѣнѣ. Спяая, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно какъ и какія-то таинственныя цифры около точечныхъ линій, сдѣланныя красными чернилами.—Что это такое? Чертежи?

— Чертежи-то чертежи, но чего?

— Право, другъ мой, не знаю.

— Чертежи эти изображаютъ, милѣйшій Василій Петровичъ, будущій молъ. Знаешь, что такое молъ?

— Ну, конечно. Вѣдь я все-таки учитель русскаго языка. Молъ—это такая... какъ бы сказать... ну, плотина, что ли...

— Именно плотина. Плотина, служащая для образованія искусственной гавани. На этихъ чертежахъ изображенъ молъ, который теперь строится. Ты видѣлъ море сверху:



— Какже, конечно. Необыкновенная картина! Но постройка я не замѣтилъ.

— Мудрено и замѣтить, сказалъ Кудряшевъ со смѣхомъ.—Этотъ молъ, почти весь не въ морѣ, Василій Петровичъ, а здѣсь, на сушѣ.

— Гдѣ-жъ это?

— Да вотъ у меня и у прочихъ строителей: у Кноблоха, Пуйциковскаго и у прочихъ. Это между нами, конечно: тебѣ я говорю это, какъ товарищу. Что ты такъ уставился на меня? Дѣло самое обыкновенное.

— Послушай, это, наконецъ, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечистыми средствами для достиженія этого комфорта. Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты такъ спокойно говоришь объ этомъ...

— Стой, стой, Василій Петровичъ! Пожалуйста, безъ сильныхъ выраженій. Ты говоришь: «нечестныя средства»? Ты мнѣ скажи сперва, что значитъ честно и что значитъ нечестно. Самъ я не знаю; быть можетъ, забылъ, а думаю, что и не помнилъ; да сдается мнѣ и ты, собственно говоря, не помнишь, а такъ только напярливаешь на себя какой-то мундиръ. Да я вообще, ты это оставь; прежде всего, это невѣжливо. Уважай свободу сужденія. Ты говоришь, нечестно; говори пожалуйста, но не брани меня: вѣдь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнѣнія. Все дѣло, братъ, во взглядѣ, въ точкѣ зрѣнія,

а такъ какъ ихъ много, точекъ этихъ, то плюнемъ мы на это дѣло и пойдёмъ въ столовую водку пить и о пріятныхъ предметахъ разговаривать.

— Ахъ, Николай, Николай, больно мнѣ смотрѣть на тебя.

— Это ты можешь; можешь душею болѣть, сколько тебѣ угодно. Пусть будетъ больно; пройдетъ! Приглядишься. Присмотришься, самъ скажешь: «какая я, однако, телятина; такъ и скажешь, помни мое слово. Пойдемъ-ка вышьемъ по рюмочкѣ и забудемъ о заблудшихъ инженерахъ; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Вѣдь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

— Тебѣ все равно.

— Ну, напрямѣръ?

— Ну, тысячи три заработаю съ частными уроками.

— Вотъ видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокамъ! А я спужу себѣ да посма-триваю: хочу дѣлаю, хочу нѣтъ; если бы фантазія пришла хоть цѣлый день въ потолокъ плевать, и то можно. А денегъ... денегъ столько, что онѣ—«вещь для насъ пустая».

Въ столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбифъ возвышался розовой горой. Банки съ консервами пестрѣли разноцвѣтными англійскими надписями и яркими рисунками. Цѣлый рядъ бутылокъ воздвигался на столѣ. Пріятеля вы-инили по рюмкѣ водки и приступили къ ужину. Кудря-



шевъ Ёль медленно и съ разстановкою; онъ совершенно углубился въ свое занятіе.

Василій Петровичъ Ёль и думалъ, думалъ и Ёль. Онъ былъ въ большомъ смущеніи и рѣшительно не зналъ, какъ ему быть. По принятымъ имъ убѣжденіямъ, онъ долженъ былъ бы поспѣшно скрыться изъ дома своего стараго товарища и никогда въ него больше не заглядывать. «Вѣдь этотъ кусокъ— краденый, думалъ онъ, положивъ себѣ въ ротъ кусокъ и прихлебывая подлитое обязательнымъ хозяиномъ вино.—А самъ, что я дѣлаю, какъ не подлость?» Много такихъ опредѣленій шевелилось въ головѣ бѣднаго учителя, но опредѣленія такъ и оставались опредѣленіями, а за ними скрывался какой-то тайный голосъ, возражавшій на каждое опредѣленіе: «Ну, такъ что-жь?» И Василій Петровичъ чувствовалъ, что онъ не въ состояніи разрѣшить этого вопроса, и продолжалъ сидѣть. «Ну, что-жь, буду наблюдать», мелькнуло у него въ головѣ въ видѣ оправданія, послѣ чего онъ и самъ передъ собою сконфузился. «Для чего мнѣ наблюдать, писатель я что-ли?»

— Этакого мяса, началъ Кудряшевъ:—ты обрати вниманіе—не достанешь въ цѣломъ городѣ. И онъ разсказалъ Василю Петровичу длинную исторію о томъ, какъ онъ обѣдалъ у Кноблоха, какъ его поразилъ своимъ достоинствомъ поданный ростбифъ, какъ онъ узналъ, откуда доставать такой и какъ, наконецъ, досталъ.

— Ты понялъ какъ разъ кстати, сказалъ онъ въ

заключеніе разсказа о мясѣ.—Бдаль ли ты что-нибудь подобное?

— Дѣйствительно, ростбифъ отличный, отвѣтилъ Василій Петровичъ.

— Превосходный, братецъ. Я люблю, чтобы все было какъ слѣдуетъ. Да что ты не пьешь? Пстой, вотъ я тебѣ налью вина!

Послѣдовала не менѣе длинная исторія о винѣ, въ которой участвовалъ и англійскій шкиперъ, и торговый домъ въ Лондонѣ, и тотъ же Кюблахъ, и таможня. Разсказывая о винѣ, Кудряшевъ попивалъ его и, по мѣрѣ того, какъ пилъ, оживлялся. На щекахъ его вялаго лица обозначились румяныя пятна, рѣчь становилась быстрѣе и оживленнѣе.

— Да что-жъ ты молчишь? наконецъ, спросилъ онъ Василія Петровича, который дѣйствительно упорно молчалъ, выслушивая эпопеи о мясѣ, винѣ, сырѣ и прочихъ благодатяхъ, украшавшихъ собою столъ инженера.

— Такъ, братъ, не говорится что-то.

— Не говорится... вотъ вздоръ! Ты, я вижу, все еще кпснешь по поводу моего признанія. Жалѣю, очень жалѣю, что сказалъ; съ большимъ бы удовольствіемъ поужинали, еслибъ не этотъ проклятый моль... Да ты лучше не думай объ этомъ, Василій Петровичъ, брось... А? Васенька, плюнь, право! Что-жъ дѣлать, братецъ, не оправдалъ я надеждъ.

Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезѣ.

— Пожалуйста, не дѣлай обо мнѣ предположеній, сказалъ Василій Петровичъ.

— Обидѣлся?.. Конечно, не удержишься. Что дало тебѣ твое безкорыстіе? развѣ ты теперь спокоенъ? развѣ не думаешь каждый день о томъ, согласны ли твои поступки съ твоими идеалами, и не убѣждаешься ли каждый день въ томъ, что несогласны? Вѣдь правда, а? Вышея вина, хорошее вино. Онъ налилъ и себѣ рюмку, посмотрѣлъ на свѣтъ, попробовалъ. щелкнулъ губами и вынулъ.

— Вѣдь вотъ, любезный мой другъ, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя въ головѣ теперь мысль сидитъ? Доподлинно знаю: «зачѣмъ, думаешь ты, я у этого человѣка сижу? Очень онъ мнѣ нуженъ! Развѣ не могу я обойтись безъ его вина и сигаръ?» Пстой, пстой, дай договорить! я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня изъ-за вина и сигаръ. Во все иѣтъ; если бы ты и очень захотѣлъ ихъ, такъ не сталъ бы лизоблудничать. Лизоблудство вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь рѣшить, дѣйстви-тельно ли я преступникъ. Не возмущаю я тебя да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что въ твоей головѣ расположены подъ разными рубриками убѣжденія, и, подогнанный подъ нихъ, я, твой бывшій товарищъ и другъ, оказываюсь мерзавцемъ, а между тѣмъ, вражды ко мнѣ ты нига-

кой чувствовать не можешь. Убѣжденія убѣжденіями, а я самъ по себѣ, товарищъ, добрый мальшій и, даже можно сказать, добрый человекъ. Вѣдь ты знаешь, что я неспособенъ никого обидѣть...

— Постои, Кудряшевъ. Откуда у тебя все это?— Василій Петровичъ обвелъ рукой. — Самъ говоришь чужое: ну, тотъ и обиженъ, у кого похищено.

— Легко сказать: у кого похищено. Я вотъ думаю, думаю, кого я обидѣлъ и все не могу понять кого. Ты не знаешь, какъ это дѣло дѣлается: я расскажу тебѣ, и ты, можетъ быть, согласишься со мною, что найдти обиженного не такъ-то легко.

Кудряшевъ позвонилъ. Явилась безстрастная лакейская фигура въ черномъ фракѣ.

— Иванъ Павлычъ, принеси мнѣ изъ кабинета чертежъ. Между окнами висить. Ты посмотри, Василій Петровичъ, дѣло-то какое грандіозное: право, я даже поэзію въ немъ нынче находить сталъ.

Иванъ Павлычъ бережно принесъ огромный листъ, наклеенный на коленкоръ. Кудряшевъ взялъ его, раздвинулъ около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложилъ чертежъ на забрызганной краснымъ виномъ скатерти.

— Посмотри сюда, сказалъ онъ. — Вотъ тебѣ поперецшій разрѣзъ нашего мола, вотъ его продольный разрѣзъ. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здѣсь настолько велика, что начинать кладку



со дна нельзя; потому мы приготовляемъ для мола прежде всего постель.

— Постель? спросилъ Василій Петровичъ.—Странное названіе.

— Постель каменную изъ огромныхъ булыжниковъ, не меньше одного кубическаго фута объемомъ.— Кудряшевъ отвинтилъ отъ часоваго ключика крошечный серебряный циркуль и взялъ имъ на чертежѣ какую-то маленькую линію.—Смотри, Василій Петровичъ:—это сажень. Если мы ею смѣримъ постель поперекъ, то окажется безъ малаго пятьдесятъ сажень ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футовъ ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь имѣть нѣкоторое представленіе о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, цѣлый день барка за баркой подходитъ къ молу, барка за баркой выбрасываетъ свой грузъ, а смѣряешь—приращеніе самое ничтожное. Точно въ бездну валять камень... Постель выкрашена здѣсь на планѣ грязно-сѣрой краской. Ее подвигаютъ впередъ, а отъ берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускаютъ на эту постель огромнѣйшіе искусственные камни, кубическія глыбы, слѣпленцыя изъ булыжника и цемента. Каждый такой кусокъ величиною въ кубическую сажень, и вѣситъ многіе сотни пудовъ. Паръ поднимаетъ ихъ, поворачиваетъ и укладываетъ рядами. Странное

чувство испытываешь, когда легкимъ нажатіемъ руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанію. Когда такая масса повинуется тебѣ, чувствуешь могущество человѣка...

— Видишь, вотъ они, эти кубики. — Опытъ показаль циркулемъ. — Кладка изъ нихъ доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка изъ тесаного камня. Такъ вотъ какое это дѣло; оно не уступитъ любой египетской пирамидѣ. Вотъ тебѣ въ общихъ чертахъ работа, которая тянется уже нѣсколько лѣтъ, а сколько времени еще протянется, Богъ знаетъ. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочемъ, если она будетъ идти такъ, какъ послѣднее время, то, пожалуй, на шагъ вѣкъ хватить.

— Ну, что-жъ дальше? спросилъ Василій Петровичъ послѣ долгаго молчанія.

— Дальше? Ну, а мы сидимъ на своихъ мѣстахъ и получаемъ, сколько слѣдуетъ.

— Я еще не вижу изъ твоего разсказа возможности получать.

— Молодъ ты, вотъ что! Впрочемъ, мы съ тобой, кажется, ровесники; только опытъ, котораго тебѣ не хватаетъ, умудрилъ и состарилъ меня. Дѣло вотъ въ чемъ: тебѣ извѣстно, что во всякомъ морѣ бываютъ бури? Онѣ-то и дѣйствуютъ. Онѣ размываютъ каждый годъ постель, а мы кладемъ новую.

— Все-жъ я не вижу возможности.

— Кладемъ мы ее, спокойно продолжалъ Кудряшевъ,—на бумагѣ, вотъ здѣсь, на чертежѣ, потому что только на чертежѣ буря ее и размываетъ.

Василій Петровичъ весь превратился въ недоумѣніе.

— Потому что не могутъ же на самомъ дѣлѣ размывать постель волны, достигающія только восьми футовъ высоты. Наше море не океанъ, да и тамъ такіе молы, какъ нашъ, выдерживаютъ; а у насъ, на двухъ съ лишнимъ саженьяхъ глубины, гдѣ кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василій Петровичъ, какъ дѣла дѣлаются. Весною, послѣ осеннихъ и зимнихъ непогодъ, мы собираемся и ставимъ вопросъ: сколько въ этомъ году размыло постели? Беремъ чертежи и отмѣчаемъ. Ну, и пишемъ куда слѣдуетъ: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубическихъ сажень начатыхъ работъ. Оттуда отвѣчаютъ: стройте, чините, чортъ съ вами! Ну, мы и чинимъ.

— Да что-жъ вы чините-то?

— Да карманы себѣ чинимъ, съострилъ Кудряшевъ и самъ разсмѣялся своей острогѣ.

— Нѣтъ, это невозможно! невозможно! закричалъ Василій Петровичъ, вскакивая со стула и бѣгая по комнатѣ.—Слушай, Кудряшевъ, вѣдь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что васъ всѣхъ поймаютъ на этомъ и ты погибнешь, по Владиміркѣ пойдешь. Боже,

Боже, вогь онѣ надежды, упованія! Способный и честный юноша—и вдругъ...

Василій Петровичъ вошелъ въ экстазъ и говорилъ долго и горячо. Но Кудряшевъ совершенно спокойно курилъ сигару и посматривалъ на расходившагося друга.

— Да, ты навѣрно пойдешь по Владиміркѣ! закончилъ Василій Петровичъ свою филиппику.

— До Владимірки, другъ мой, очень далеко. Чудной ты человѣкъ, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Развѣ я одинъ... какъ бы это повѣжли-вѣе сказать... приобрѣтаю? Все вокругъ, самый воздухъ—и тотъ, кажется, тащитъ. Недавно явился къ намъ одинъ новенькій и сталъ было по части честности корреспонденціи писать. Что-жъ? Прикрыли... И всегда прикроемъ. Всѣ за одного, одинъ за всѣхъ. Ты думаешь, что человѣкъ самъ себя врагъ. Кто-жъ рѣшится меня тронуть, когда черезъ это самъ можетъ пошатнуться?

— Стало быть, какъ сказалъ Крыловъ, рыльце-то у всѣхъ въ пушку?

— Въ пушку, въ пушку. Всѣ берутъ съ жизни что могутъ, а не относятся къ ней платонически... О чемъ бишь мы начали говорить? Да, объ томъ, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братію, что-ли? Ну, чѣмъ? Вѣдь я черпаю не прямо изъ источника, а беру готовое, что ужъ взято, и если не достанется мнѣ, то можетъ быть кому-нибудь и похуже. По крайней мѣрѣ, я не по свински живу, есть кой-ка-



кіе и духовные интересы: выписываю кучу газетъ, журналовъ. Кричатъ о наукѣ, о цивилизаціи, а къ чему бы эта цивилизація прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давалъ наукѣ возможность двигаться впередъ какъ не люди со средствами? А ихъ нужно откуда-нибудь взять. Такъ называемыми честными путями...

— Ахъ, не доканчивай, не говори ты хоть послѣдняго слова, Николай Константиновичъ!

— Слова? Что-жъ, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я сталъ врать, оправдываться? Ворую, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь ворую.

— Послушай, Кудряшевъ...

— Нечего мнѣ тебя слушать, сказалъ со смѣхомъ Кудряшевъ.—Ты таки, братъ, грабитель, подъ личиною добродѣтели. Ну, что это за занятіе твое—учительство? Развѣ ты уплатишь своимъ трудомъ даже тѣ гроши, что тебѣ теперь платятъ? Приготовишь ли ты хоть одного порядочнаго человѣка? Три четверти изъ твоихъ воспитанниковъ выйдутъ такіе же, какъ я, а одна четверть такими, какъ ты, то есть благонамѣренной размазней. Ну, не даромъ ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушелъ отъ меня? А тоже храбрится, честность проповѣдуетъ!

— Кудряшевъ! повѣрь, что мнѣ чрезвычайно тяжело этотъ разговоръ.

— А мнѣ нисколько.

— Я не ожидалъ встрѣтить въ тебѣ то, что встрѣтилъ.

— Немудрено: люди измѣняются, и я измѣнился, а въ какую сторону—ты угадать не могъ: не пророкъ вѣдь.

— Не нужно быть пророкомъ, чтобы надѣяться, что честный юноша сдѣлается честнымъ гражданиномъ.

— Ахъ, оставь, не говори ты мнѣ этого слова. Честный гражданинъ! И откуда, изъ какого учебника ты эту архивность вытащилъ? Пора бы перестать сантиментальничать: не мальчикъ вѣдь... Знаешь что, Вася; при этомъ Кудряшевъ взялъ Василя Петровича за руку: — будь другомъ, бросимъ этотъ проклятый вопросъ. Лучше выьемъ по-товарищески. Иванъ Павлычъ! дай, братъ, бутылочку вотъ этого.

Иванъ Павлычъ немедленно явился съ новой бутылкой, Кудряшевъ налилъ стаканы.

— Ну, выьемъ за процвѣтаніе... чего бы это? Ну, все равно: за наше съ тобою процвѣтаніе.

— Пью, сказалъ Василій Петровичъ съ чувствомъ:—за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнѣйшее желаніе.

— Будь другъ, не помпнай... Вѣдь если опомниться, такъ ужъ пить будетъ нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будемъ пить просто безъ всякихъ пожеланій. Бросимъ эту скучную канитель: все равно, ни до чего не дого-

воримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоить переспаривать: собственным умом до моей философии дойдешь.

— Никогда! съ жаромъ воскликнулъ Василій Петровичъ, стукнувъ стаканомъ объ столъ.

— Ну, это посмотримъ. Да что это все я про себя рассказывалъ, а ты о себѣ молчишь? Что ты дѣлалъ, что думаешь дѣлать?

— Я говорилъ уже тебѣ, что назначенъ учителемъ.

— Это твое первое мѣсто?

— Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

— И теперь думаешь заниматься ими?

— Если найду, отчего же.

— Доставимъ, братъ, доставимъ! — Кудряшевъ хлопнулъ Василя Петровича по плечу. — Все здѣшнее юношество тебѣ въ науку отдадимъ. Почему ты бралъ за часъ въ Петербургѣ?

— Мало. Очень трудно было доставать хорошіе уроки. Рубль-два, не больше.

— И за такіе гроши человекъ терзается! Ну, здѣсь меньше пяти и не смѣй спрашивать. Это работа трудная: я самъ помню, какъ на первомъ и на второмъ курсѣ по урочишкамъ бѣгалъ. Бывало, добудешь по полтиннику за часъ и радъ. Самая благодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всѣми нашими; тутъ есть премилыя семейства,

и съ барышнями. Будешь умно себя вести—сосватаю, если хочешь. А, Василій Петровичъ?

— Нѣтъ, благодарю, я не нуждаюсь.

— Сосватанъ уже? Правда?

Василій Петровичъ выразилъ своимъ видомъ смущеніе.

— По глазамъ вижу, что правда. Ну, братъ, поздравляю. Вотъ какъ скоро; ай да Вася! Иванъ Павлычъ!—закричалъ Кудряшевъ.

Иванъ Павлычъ съ заспаннымъ и сердитымъ лицомъ появился въ дверяхъ.

— Дай шампанскаго!

— Шампанскаго нѣту, все вышло, — мрачно отвѣчалъ лакей.

— Будеть, Кудряшевъ, зачѣмъ же это, право.

— Молчи, я тебя не спрашиваю. Обидѣтъ меня хочешь, что-ли? Иванъ Павлычъ, безъ шампанскаго не приходитъ, слышишь? Стунай!

— Да вѣдь заперто, Николай Константиновичъ.

— Не разговаривай. Деньги у тебя есть: стунай и принеси. — Лакей ушелъ, ворча что-то себѣ подъ носъ.

— Вотъ скотина, еще разговариваетъ! А ты еще «не нужно»! Если по такому случаю не пить, то для чего и существуетъ шампанское?.. Ну, кто такая?

— Кто?

— Ну, она, невѣста... Бѣдна, богата, хороша?

— Ты все равно ее не знаешь, такъ зачѣмъ на-



зывать ее тебѣ? Состоянія у нея нѣтъ, а красота вещь условная. По моему, красива.

— Карточка есть?—спросилъ Кудряшевъ.—Поди, при сердцѣ носишь. Покажи.

И онъ протянулъ руку.

Красное отъ вина лицо Василя Петровича еще болѣе покраснѣло. Не зная зачѣмъ, онъ растегнулъ сюртукъ, вынулъ свою книжку и досталъ драгоценную карточку. Кудряшевъ схватилъ ее и началъ разсматривать.

— Ничего, братъ! ты знаешь, гдѣ раки зимуютъ.

— Нельзя ли безъ такихъ выраженій! — рѣзко сказалъ Василій Петровичъ.—Дай ее мнѣ, я сирячу.

— погоди, дай насладиться. Ну, дай вамъ Богъ совѣтъ да любовь. На возьми, положи опять на сердце. Ахъ, ты чудакъ, чудакъ!—воскликнулъ Кудряшевъ и расхохотался.

— Не понимаю, что ты нашелъ тутъ смѣшного?

— А такъ, братецъ, смѣшно стало. Представился мнѣ ты черезъ десять лѣтъ: самъ въ халатѣ, подурнѣвшая беременная жена, семь человѣкъ дѣтей и очень мало денегъ для покупки имъ башмаковъ, штанишекъ, шапченокъ и всего прочаго. Вообще проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку въ боковомъ карманѣ? Ха, ха, ха!

— Ты скажи лучше, какая поэзія ждетъ въ будущемъ тебя? Получать деньги и проживать ихъ: ѣсть, пить да спать?

— Не ѣсть, пить и спать, а жить. Жить съ сознаниємъ своей свободы и нѣкотораго даже могущества.

— Могущества! Какое у тебя могущество?

— Сила въ деньгахъ, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сдѣлаю... Захочу тебя купить и куплю.

— Кудряшевъ!..

— Не хорохорься попусту. Неужели намъ съ тобою, старымъ друзьямъ, нельзя и пошутить другъ надъ другомъ. Конечно, тебя покупать не стану. Живи себѣ по своему. А все-таки, что хочу, то и сдѣлаю. Ахъ, я дурень, дурень!—вдругъ вскрикнулъ Кудряшевъ, хлопнувъ себя по лбу:—сидимъ сколько времени, а я тебѣ главной достопримѣчательности-то и не показалъ. Ты говоришь: ѣсть, пить и спать? Я тебѣ сейчасъ такую штуку покажу, что ты откажешься отъ своихъ словъ. Пойдемъ. Возьми свѣчу.

— Куда это? спросилъ Василій Петровичъ.

— За мной. Увидишь, куда.

Василій Петровичъ, вставъ со стула, чувствовалъ себя не въ полномъ порядкѣ. Ноги не совсѣмъ повиновались ему, и онъ не могъ держать подсвѣчникъ такъ, чтобы стеаринъ не капалъ на коверъ. Однако, нѣсколько справившись съ непослушными членами, онъ пошелъ за Кудряшевымъ. Они прошли нѣсколько комнатъ, узенькій корридоръ и очутились въ какомъ-то сыромъ и темномъ помѣщеніи. Шаги

глухо стучали по каменному полу. Шумъ падающей гдѣ-то струи воды звучалъ безконечнымъ аккордомъ. Съ потолка висѣли сталактиты изъ туфа и синеватаго литого стекла; цѣлыя искусственныя скалы возвышались здѣсь и тамъ. Масса тропической зелени прикрывала ихъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ блестяли темныя зеркала.

— Что это такое?—спросилъ Василій Петровичъ.

— Акваріи, которому я посвятилъ два года времени и много денегъ. Подожди, я сейчасъ освѣщу его.

Кудряшевъ скрылся за зелени, а Василій Петровичъ подошелъ къ одному изъ зеркальныхъ стеколъ и началъ разсматривать, что было за нимъ. Слабый свѣтъ одной свѣчки не могъ проникнуть далеко въ воду, но рыбы, большія и маленькія, привлеченныя свѣтлой точкой, собрались въ освѣщенномъ мѣстѣ и глупо смотрѣли на Василю Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднѣлись темныя очертанія водорослей. Какая-то гадина шевелилась въ нихъ; Василію Петровичъ не могъ разсмотрѣть ея формы.

Вдругъ потокъ ослѣпительнаго свѣта заставилъ его на мгновеніе закрыть глаза, и когда онъ открылъ ихъ, то не узналъ акварію. Кудряшевъ въ двухъ мѣстахъ зажегъ электрическіе фонари: свѣтъ ихъ проходилъ сквозь массу голубоватой воды, кишущую рыбами и другими животными, наполненную

растеніями, рѣзко выдѣлявшимися на неопредѣленномъ фонѣ своими кроваво-красными, бурными и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропическія растенія, отъ контраста сдѣлавшіяся еще темнѣе, красиво обрамляли толстыя зеркальныя стекла, сквозь которыя открывался видъ на внутренность акварія, Въ немъ все закопошилось, заметалось, испуганное ослѣпительнымъ свѣтомъ: цѣлая стая маленькихъ большоголовыхъ «бычковъ» носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по командѣ; стерляди извивались, прильнувъ мордой къ стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотѣли пройти черезъ прозрачную твердую преграду; чернѣйшій гладкій угорь зарывался въ песокъ акварія и поднималъ цѣлое облако мути; смѣшная кургузая каракатица отцѣпилась отъ скалы, на которой сидѣла, и переплывала акварій толчками, задомъ напередъ, волоча за собой свои длинныя щупала. Все вмѣстѣ было такъ красиво и ново для Василя Петровича, что онъ совершенно забылся.

— Каково, Василій Петровичъ? спросилъ Кудряшевъ, выйдя къ нему.

— Чудесно, братъ, удивительно! Какъ это ты все устроилъ! сколько вкуса, эффекта!

— Прибавь еще, и знанія. Нарочно въ Берлинъ ѣздилъ посмотрѣть тамошнее чудо и, не хвастая скажу, что мой хотя и уступаетъ, конечно, въ величинѣ, но на счетъ изящества и интересности—нисколько... Это моя гордость и утѣшеніе. Какъ скучно



станеть—придешь сюда, сядешь и смотришь по цѣлымъ часамъ. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не такъ какъ нашъ братъ, человѣкъ. Жретъ другъ друга и не конфузится. Вотъ смотри, смотри: видишь, нагоняетъ.

Маленькая рыбка порывисто металась вверхъ и внизъ и въ стороны, спасаясь отъ какого-то длиннаго хищника. Въ смертельномъ страхѣ, она выбрасывалась изъ воды на воздухъ, пряталась подъ уступы скалы, а острые зубы вездѣ нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, какъ вдругъ другая, подскочивъ сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла въ ея пасти. Преслѣдовательница остановилась въ недоумѣнн, а похитительница скрылась въ темный уголь.

— Перехватили! сказалъ Кудряшевъ. — Дура, осталась ни при чемъ. Стоило гоняться для того, чтобы изъ-подъ носа выхватили кусокъ... Сколько, если бы ты зналъ, они пожираютъ этой мелкой рыбицы: сегодня напустишь цѣлую тучу, а на другой день все уже съѣдено. Съѣдятъ и не помышляютъ о безнравственности—а мы? Я только недавно отвыкъ отъ этой ерунды. Василій Петровичъ! неужели ты, наконецъ, не согласишься, что это ерунда?

— Что такое? спросилъ Василій Петровичъ, не отрывая глазъ отъ воды.

— Да вотъ эти угрызенія. На что они? Угрызайся, не угрызайся, а если попадется кусокъ... Ну,

я и упразднилъ ихъ, угрызенія эти, я стараюсь подражать этой скотицѣ.

Ошъ показалъ пальцемъ на акваріи.

— Вольному воля, сказалъ со вздохомъ Василии Петровичъ.— Послушай, Кудряшевъ, вѣдь это, кажется, морскія растенія и животныя?

— Морскія. И вода вѣдь у меня морская. Нарочно водопроводъ устроилъ.

— Неужели изъ моря? Но вѣдь это должно стоить огромныхъ денегъ.

— Не маленькихъ. Акваріи мой стоитъ около тридцати тысячъ.

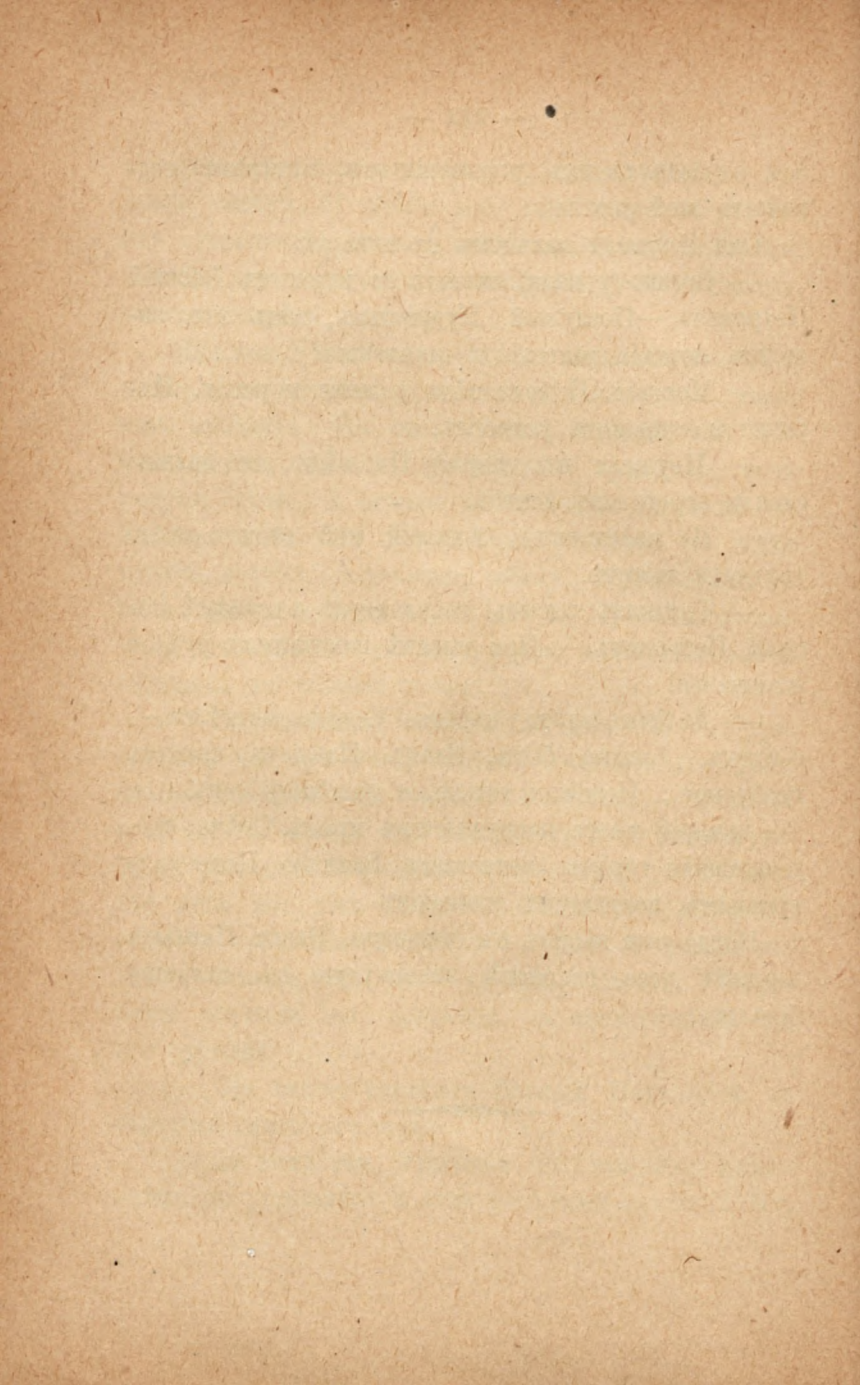
— Тридцать тысячъ! воскликнулъ въ ужасѣ Василий Петровичъ. — При тысячѣ шестистахъ рублей жалованья!

— Да брось ты это ужасанье! Если насмотрѣлся,— пойдемъ. Должно быть, Иванъ Павлычъ принесъ требуемое... Подожди только, я разомкну токъ.

Акваріи вновь погрузился въ мракъ. Свѣча, продолжавшая горѣть, показалась Василию Петровичу тусклымъ, конпящимъ огонькомъ.

Когда они вышли въ столовую, Иванъ Павлычъ держалъ уже наготовѣ завернутую въ салфетку бутылку.





Х У Д О Ж Н И К И





# Х У Д О Ж Н И К И.

---

## I.

### Д ѣ д о в ъ.

Сегодня я чувствую себя такъ, какъ будто бы гора свалилась съ моихъ плечъ. Счастье было такъ неожиданно! Долой инженерскіе погоны, долой инструменты и смѣты!

Но не стыдно ли такъ радоваться смерти бѣдной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мнѣ возможность бросить службу? Правда, вѣдь она, умирая, просила меня отдаться воплиѣ моему любимому занятію, и теперь я радуюсь, между прочимъ, и тому, что исполняю ея горячее желаніе. Это было вчера... Какую изумленную фізіономію сдѣлалъ нашъ шефъ, когда узналъ, что я бросаю службу! А когда я объяснилъ ему

цѣль, съ которою я дѣлаю это, онъ просто разинулъ ротъ!

— Изъ любви къ искусству?.. Мм!.. подавайте прошение.

И не сказавъ больше ничего, повернулся и ушелъ. Но мнѣ шчего больше и не было нужно. Я свободенъ, я художникъ! Не верхъ ли это счастья?

Мнѣ захотѣлось уйти куда-нибудь подальше отъ людей и отъ Петербурга: я взялъ яликъ и отиравился на взморье. Вода, небо, сверкающій вдаль на солнцѣ городъ, снѣгіе лѣса, окаймившіе берега залива, верхушки мачтъ на кронштадтскомъ рейдѣ, десятки пролетающихъ пароходовъ и скользящихъ мимо меня парусныхъ кораблей и лайбъ — все показалось мнѣ въ новомъ свѣтѣ. Все это мое, все это въ моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить передъ изумленною силою искусства толпою. Правда, не слѣдовало бы продавать шкуру еще неубитаго медвѣдя: вѣдь пока я—еще не Богъ знаетъ какой великій художникъ...

Яликъ быстро разрѣзалъ гладь воды. Яличникъ, рослый, здоровый и красивый паренъ въ красной рубахѣ, безъ усталки работалъ веслами: онъ то нагибался впередъ, то откидывался назадъ, сильно подвигая лодку при каждомъ движеніи. Солнце закатывалось и такъ эффектно играло на его лицѣ и на красной рубахѣ, что мнѣ захотѣлось набросать его красками. Маленькій ящикъ съ холстиками, красками и кистями всегда при мнѣ.

— Перестань грести, посиди минутку смирно; я тебя напишу, сказалъ я.

Онъ бросилъ весла.

— Ты сядь такъ, будто весла заносишь.

Онъ взялся за весла, взмахнулъ ими, какъ птица крыльями, и такъ и замеръ въ прекрасной позѣ. Я быстро набросалъ карандашемъ контуръ и принялся писать. Съ какимъ-то особеннымъ радостнымъ чувствомъ я мѣшалъ краски. Я зналъ, что ничто не оторветъ меня отъ нихъ уже всю жизнь.

Яличникъ скоро началъ уставать: его удалое выраженіе лица смѣнилось вялымъ и скучнымъ. Онъ сталъ зѣвать и одинъ разъ даже утеръ рукавомъ лицо, для чего ему нужно было наклониться головою къ веслу. Складки рубахи совсѣмъ пропали. Такая досада! Терпѣть не могу, когда натура шевелится.

— Сиди, братецъ, смирнѣе.

Онъ усмѣхнулся.

— Чего ты смѣешься?

Онъ конфузливо ухмыльнулся и сказалъ:

— Да чудно, баринъ!

— Чего-жъ тебѣ чудно?

— Да будто я—рѣдкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

— Картина и будетъ, другъ любезный.

— На что-жъ она вамъ?

— Для ученья. Вотъ напишу, напишу маленькія, буду и большія писать.



— Большая?

— Хоть въ три сажени.

Онъ замолчалъ и потомъ серьезно спросилъ:

— Что-жъ, вы, поэтому, и образа можете?

— Могу и образа; только я пишу картины.

— Такъ.—Онъ задумался и снова спросилъ:

— На что-жъ онѣ?

— Что такое?

— Картины эти...

Конечно, я не сталъ читать ему лекціи о значеніи искусства, а только сказалъ, что за эти картины платятъ хорошія деньги, рублей по тысячѣ, по двѣ и больше. Яличникъ былъ совершенно удовлетворенъ и больше не заговаривалъ. Этюды вышли прекрасныи (очень красивы эти горячіе тоны освѣщеннаго заходящимъ солнцемъ кумача), и я возвратился домой совершенно счастливымъ.

## II.

### Р я б и н и н ъ.

Предо мною стоитъ въ натянутомъ положеніи старикъ Тарасъ, натурщикъ, которому профессоръ Н—тъ велѣлъ положить «рука на галава», потому что это «большень классическій поза»; вокругъ меня—цѣлая толпа товарищей, такъ же какъ и я сидящихъ передъ мольбертами съ палитрами и кистями въ рукахъ. Впереди всѣхъ Дѣдовъ, хотя и пейзажистъ,

но усердно пишетъ Тараса. Въ классѣ запахъ красокъ, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдыхъ; онъ садится на край деревяннаго ящика, служащаго ему пьедесталомъ, и изъ «натуры» превращается въ обыкновеннаго голаго старика, разминаетъ свои оцѣпенѣвшія отъ долгой неподвижности руки и ноги, обходится безъ помощи носоваго платка и прочее. Ученики тѣснятся около мольбертовъ, рассматривая работы другъ друга. У моего мольберта всегда толпа; я—очень способный ученикъ академіи, и подаю огромныя надежды сдѣлаться однимъ изъ «нашихъ корифеевъ», по счастливому выраженію извѣстнаго художественнаго критика, г. В. С., который уже давно сказалъ, что «изъ Рябинина выйдетъ толкъ». Вотъ отчего всѣ смотрятъ на мою работу.

Черезъ 5 минутъ все снова усаживается на мѣста, Тарасъ влѣзаетъ на пьедесталъ, кладетъ руку на голову и мы мажемъ, мажемъ...

И такъ каждый день.

Скучно, не правда-ли? Да я и самъ давно убѣдился въ томъ, что все это очень скучно. Но какъ локомотиву съ открытою паропроводною трубою предстоить одно изъ двухъ: катиться по рельсамъ до тѣхъ поръ, пока не истощится паръ, или, соскочивъ съ нихъ, превратиться изъ стройнаго желѣзно-мѣднаго чудовища въ груды обломковъ, такъ и мнѣ... Я на рельсахъ; они плотно обхватываютъ мои колеса, и если я сойду съ нихъ, что тогда? Я долженъ

во что бы то ни стало докатиться до станціи, не смотря на то, что она, эта станція, представляется мнѣ какой-то черной дырой, въ которой ничего не разберешь. Другіе говорятъ, что это будетъ художественная дѣятельность. Что это нѣчто художественное—спора нѣтъ, но что это дѣятельность...

Когда я хожу по выставкѣ и смотрю на картины, что я вижу въ нихъ? Холстъ, на который наложены краски, расположенныя такимъ образомъ, что онѣ образуютъ впечатлѣнія, подобныя впечатлѣніямъ отъ различныхъ предметовъ. Люди ходятъ и удивляются: какъ это онѣ, краски, такъ хитро расположены! И больше ничего. Написаны цѣлыя книги, цѣлыя горы книгъ объ этомъ предметѣ; многія изъ нихъ я читалъ. Но изъ Тэновъ, Карьеровъ, Куглеровъ и всѣхъ, писавшихъ объ искусствѣ, до Прудона включительно, не явствуетъ ничего. Они все толкуютъ о томъ, какое значеніе имѣетъ искусство, а въ моей головѣ, при чтеніи ихъ, непремѣнно шевелится мысль: если оно имѣетъ его. Я не видѣлъ хорошаго вліянія хорошей картины на человѣка; зачѣмъ же мнѣ вѣрить, что оно есть?

Зачѣмъ вѣрить? Вѣрить-то мнѣ нужно, необходимо нужно, но *какъ* повѣрить? Какъ убѣдиться въ томъ, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любовицтву толпы (и хорошо еще, если только любовицтву, а ничемунибудь иному, возбужденію скверныхъ инстинктовъ, напри- мѣръ) и тщеславію какого-нибудь разбогатѣвшаго

желудка на ногахъ, который не спѣша подоидеть къ моеѣ пережитой, выстраданной, дорогой картинѣ, писанной не кистью и красками, а первами и кровью. пробурчитъ: «мм... шчего себѣ», сунетъ руку въ оттопырившійся карманъ, броситъ мнѣ нѣсколько сотъ рублей и унесетъ ее отъ меня. Унесетъ вмѣстѣ съ волненіемъ, съ безсонными ночами, съ огорченіями и радостями, съ обольщеніями и разочарованіями. И снова ходишь одинокій среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечеромъ, машинально пишешь его утромъ, возбуждая удивленіе профессоръ и товарищей быстрыми успѣхами. Зачѣмъ дѣлаешь все это, куда идешь?

Вотъ уже четыре мѣсяца прошло съ тѣхъ поръ, какъ я продалъ свою послѣднюю картинку, а у меня еще нѣтъ никакой мысли для новой. Если бы вышло что-нибудь въ головѣ, хорошо было бы... Нѣсколько времени полного забвенія: ушелъ бы въ картину, какъ въ монастырь, думалъ бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачѣмъ? во время работы исчезаютъ; въ головѣ одна мысль, одна цѣль, и приведеніе ея въ исполненіе доставляетъ наслажденіе. Картина — міръ, въ которомъ живешь и передъ которымъ отвѣчаешь. Здѣсь исчезаетъ житейская нравственность: ты создаешь себѣ новую въ своемъ новомъ мірѣ и въ немъ чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь, по своему, независимо отъ жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечеромъ, когда су-



мерки прервутъ работу, вернешься въ жизнь и снова слышишь вѣчный вопросъ: «зачѣмъ?», не дающій уснуть, заставляющій ворочаться на постели въ жару, смотрѣть въ темноту, какъ будто бы гдѣ-нибудь въ ней написанъ отвѣтъ. И засынаешь подъ утро мертвымъ сномъ, чтобы, проснувшись, снова опуститься въ другой міръ сна, въ которомъ живутъ только выходящіе изъ тебя самого образы, складывающіеся и проясняющіеся предъ тобою на полотнѣ.

— Что вы не работаете, Рябининъ? громко спросилъ меня сосѣдъ.

Я такъ задумался, что вздрогнулъ, когда услышалъ этотъ вопросъ. Рука съ палитрой опустилась: пола сюртука попала въ краски и вся вымазалась: кисти лежали на полу. Я взглянулъ на этюдъ; онъ былъ конченъ и хорошо конченъ: Тарасъ стоялъ на полотнѣ, какъ живой.

— Я кончилъ, отвѣтилъ я сосѣду.

Кончился и классъ. Натурщикъ сошелъ съ ящика и одѣвался; всѣ, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говоръ. Подошли ко мнѣ, похвалили.

— Медаль, медаль... Лучшій этюдъ, говорили нѣкоторые. Другіе молчали: художники не любятъ хвалить другъ друга.

III.

Д ѣ д о в ъ .

Кажется мнѣ, я пользуюсь между молми товарищами-учениками уваженіемъ. Конечно, не безъ того, чтобы на это не оказывалъ вліянія мой, сравнительно съ ними, солидный возрастъ: во всей академіи одинъ только Вольскій старше меня. Да, искусство обладаетъ удивительной притягательной силой! Этотъ Вольскій—отставной офицеръ, господинъ лѣтъ сорока-пяти, съ совершенно сѣдою головою: поступить въ такихъ лѣтахъ въ академію, снова начать учиться—развѣ это не подвигъ? Но онъ упорно работаетъ: лѣтомъ съ утра до вечера пишетъ этюды во всякую погоду, съ какимъ-то самоотверженіемъ; зимою, когда свѣтло—постоянно пишетъ, а вечеромъ рисуется. Въ два года онъ сдѣлалъ большіе успѣхи, не смотря на то, что судьба не наградила его особенно большимъ талантомъ.

Вотъ Рябининъ—другое дѣло: чертовски талантливая натура, но за то лѣнтяій ужасный. Я не думаю, чтобы изъ него вышло что-нибудь серьезное, хотя всѣ молодые художники—его поклонники. Особенно мнѣ кажется страннымъ его пристрастіе къ такъ-называемымъ реальнымъ сюжетамъ: пишетъ лапти, онучи и полушубки, какъ будто бы мы не довольно посмотрѣлись на нихъ въ натурѣ. А что

главное, онъ почти не работаетъ. Иногда засядетъ, и въ мѣсяцъ окончитъ картинку, о которой все кричатъ какъ о чудѣ, находя, впрочемъ, что техника оставляетъ желать лучшаго (по моему, техника у него очень и очень слаба); а потомъ броситъ писать даже этюды, ходить мрачнѣй и ни съ кѣмъ не заговариваетъ, даже со мной, хотя, кажется, отъ меня онъ удаляется меньше, чѣмъ отъ другихъ товарищей. Страннѣйшій юноша! Удивительными мнѣ кажутся эти люди, не могущіе найти полного удовлетворенія въ искусствѣ. Не могутъ они понять, что ничто такъ не возвышаетъ человѣка, какъ творчество.

Вчера я кончилъ картину, выставилъ, и сегодня уже спрашивали о цѣнѣ. Дешевле 300 не отдамъ. Давали уже 250. Я такого мнѣнія, что никогда не слѣдуетъ отступать отъ разъ назначенной цѣны. Это доставляетъ уваженіе. А теперь тѣмъ болѣе не уступлю, что картина навѣрно продается; сюжетъ — изъ ходкихъ и симпатичный: зима, закатъ; черные стволы на первомъ планѣ рѣзко выдѣляются на красномъ заревѣ. Такъ пишетъ К., и какъ онѣ идутъ у него! Въ одну эту зиму, говорятъ, до двадцати тысячъ заработалъ. Недурно! жить можно. Не понимаю, какъ это ухитряются бѣдствовать нѣкоторые художники. Вотъ у К. ни одинъ холстикъ даромъ не пропадаетъ: все продается. Нужно только прямѣе относиться къ дѣлу; пока ты пишешь картину — ты художникъ, творецъ; написана она — ты

торгашъ; и чѣмъ ловче ты будешь вести дѣло, тѣмъ лучше. Публика часто тоже поровнитъ надуть нашего брата.

#### IV.

##### Рябининъ.

Я живу въ пятнадцатой линіи на Среднемъ проспектѣ, и четыре раза въ день прохожу по набережной. гдѣ пристають иностранные пароходы. Я люблю это мѣсто за его пестроту, оживленіе, толкотню и шумъ, за то, что оно дало мнѣ много матерьяла. Здѣсь, смотря на поденщиковъ, таскающихъ були, вертящихъ ворота и лебедки, возящихъ тележки со всякою кладью, я научился рисовать трудящагося человѣка.

Я шелъ домой съ Дѣдовымъ, пейзажистомъ. Добрый и невинный, какъ самъ пейзажъ, человѣкъ, и страстно влюбленъ въ свое искусство. Вотъ для него такъ ужь нѣтъ никакихъ сомнѣній: пишетъ, что видитъ; увидитъ рѣку, и пишетъ рѣку, увидитъ болото съ осокою, и пишетъ болото съ осокою. Зачѣмъ ему эта рѣка и это болото?—онъ никогда не задумывается. Онъ, кажется, образованный человѣкъ; по крайней мѣрѣ, кончилъ курсъ инженеромъ. Службу бросилъ, благо явилось какое-то наслѣдство, дающее ему возможность существовать безъ труда. Теперь онъ пишетъ и пишетъ: лѣтомъ сидитъ съ утра до вечера на полѣ или въ лѣсу за этюдами, зимой безъ



устали компануеъь закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забылъ и не жалѣеъь объ этомъ. Только, когда мы проходимъ мимо пристани, онъ часто объясняетъ мнѣ значеніе огромныхъ чугуновыхъ и стальныхъ массъ: частей машинъ, котловъ и разныхъ разностей, выгруженныхъ съ парохода на берегъ.

— Посмотрите, какой котлище притащили, ска-заль онъ мнѣ вчера, ударивъ тростью въ звонкій котель.

— Неужели у насъ не умѣютъ ихъ дѣлать? спро-спль я.

— Дѣлаютъ и у насъ, да мало, не хватаетъ. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здѣсь чинить: видите, шовъ расходится? Вотъ тутъ тоже заклепки расшаталсь. Знаете-ли, какъ эта штука дѣлается? Это, я вамъ скажу, адская работа. Человѣкъ садится въ котель и держитъ заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на нихъ грудью, а снаружи мастеръ колотитъ по заклелкѣ молотомъ и выдѣлываетъ вотъ такую шляпку.

Онъ показалъ мнѣ на длинный рядъ вышук-лыхъ металлическихъ кружковъ, идущій по шву котла.

— Дѣдовъ, вѣдь это все равно, что по груди бить!

— Все равно. Я разъ попробоваль было забратсья въ котель, такъ послѣ четырехъ заклонокъ еле вы-

брался. Совсѣмъ разбило грудь. А эти какъ-то ухи-  
труются привыкать. Правда, и мрутъ они, какъ  
мухи: годъ-два вынесетъ, а потомъ, если и живъ,  
то рѣдко куда-нибудь годенъ. Извольте-ка цѣлый  
день выносить грудью удары здоровеннаго молота  
по груди, да еще въ котлѣ, въ духогѣ, согнувшись  
въ три погибели. Зимой желѣзо мерзнетъ, холодъ,  
а онъ сидитъ или лежитъ на желѣзѣ. Вонъ въ томъ  
котлѣ — видите, красный, узкій — такъ и сидѣть  
нельзя: лежи на боку, да подставляй грудь. Труд-  
ная работа этимъ глухарямъ.

— Глухарямъ?

— Ну да, рабочіе ихъ такъ прозвали. Отъ этого  
трезвона они часто глохнутъ. И вы думаете много  
они получаютъ за такую каторжную работу? Гроши!  
Потому что тутъ ни навыка, ни искусства не тре-  
буется, а только мясо... Сколько тяжелыхъ впечат-  
лѣній на всѣхъ этихъ заводахъ, Рябининъ, если бы  
вы знали! Я такъ радъ, что раздѣлялся съ ними  
навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря  
на эти страданія... То ли дѣло съ природою. Она  
не обижаетъ, да и ее не нужно обижать, чтобы  
эксплуатировать ее, какъ мы, художники... Погля-  
дите-ка, поглядите, каковъ сѣроватый тонъ! вдругъ  
перебилъ онъ самъ себя, показывая на уголокъ  
неба: — пониже, вонъ тамъ, подъ облачкомъ... пре-  
лестъ! Съ зеленоватымъ отгѣнкомъ. Вѣдь вотъ на-  
пиши такъ, ну, точно такъ — не повѣрятъ! А вѣдь  
не дурно, а?

Я выразилъ свое одобреніе, хотя, по правдѣ сказать, не видѣлъ никакой прелести въ грязно-зеленомъ клочкѣ петербургскаго неба, и перебилъ Дѣдова, начавшаго восхищаться еще какимъ-то «тонкѣмъ» около другого облачка.

— Скажите мнѣ, гдѣ можно посмотрѣть такого глухаря?

— Поѣдемте вмѣстѣ на заводъ; я вамъ покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра. Да ужъ не вздумалось ли вамъ писать этого глухаря? Бросьте, не стойте; неужели нѣтъ ничего повеселѣе? А на заводъ, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поѣхали на заводъ и осмотрѣли все. Видѣли и глухаря. Онъ сидѣлъ, согнувшись въ комокъ, въ углу котла и подставлялъ свою грудь подъ удары молота. Я смотрѣлъ на него полчаса: молотъ поднялся и опустился сотни разъ. Глухарь корчился. Я его напишу.

## V.

### Дѣдовъ.

Рябининъ выдумалъ такую глупость, что я не знаю, что объ немъ и думать. Третьяго дня я возилъ его на металлическій заводъ; мы провели тамъ цѣлый день, осмотрѣли все, причѣмъ я объяснилъ ему всякія производства (къ удивленію моему, я забылъ очень небольшое изъ своей профессіи); нако-

нецъ, я привелъ его въ котельное отдѣленіе. Тамъ, въ это время, работали надъ огромнѣйшимъ котломъ. Рябининъ влѣзъ въ котель и полчаса смотрѣлъ, какъ работникъ держитъ заклепки клещами. Вылѣзъ оттуда блѣдный и разстроенный; всю дорогу назадъ молчалъ. А сегодня объявляетъ мнѣ, что уже началъ писать этого рабочаго-глухаря. Что за идея! Что за поэзія въ грязи! Здѣсь я могу сказать, никого и ничего не стѣсняясь, то, чего, конечно, не сказалъ бы при всѣхъ: по моему, вся эта мужичья полоса въ искусствѣ—чистое уродство. Кому пужны эти пресловутые рѣшнскіе «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нѣтъ спора; но вѣдь и только. Гдѣ здѣсь красота, гармонія, изящное? А не для воспроизведенія ли изящнаго въ природѣ и существуетъ искусство?

То ли дѣло у меня! Еще нѣсколько дней работы, и будетъ кончено мое тихое «Майское утро». Чуть кольшнется вода въ прудѣ, ивы склонили на него свои вѣтви; востокъ загорается; мелкія, перистыя облачка окрасились въ розовый цвѣтъ. Женская фигурка идетъ съ крутого берега съ ведромъ за водой, спугивая стаю утокъ. Вотъ и все: кажется, просто, а, между тѣмъ, я ясно чувствую, что поэзіи въ картинѣ вышло пропасть. Вотъ это — искусство! Оно настраиваетъ человѣка на тихую, кроткую задумчивость, смягчаетъ душу. А Рябининскій «Глухарь» ни на кого не подѣйствуетъ уже потому, что всякій постарается поскорѣе убѣжать отъ него,



чтобы только не мозолить себѣ глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дѣло! вѣдь вотъ въ музыкѣ не допускаются рѣжущія ухо, непріятныя созвучія; отчего-жъ у насъ въ живописи можно воспроизводить положительно безобразныя, отталкивающіе образы? Нужно поговорить объ этомъ съ Л.; онъ напишетъ статейку и, кстати, прокатитъ Рябинина за его картину. И стоптъ.

## VI.

### Рябининъ.

Уже двѣ недѣли, какъ я пересталъ ходитъ въ академію: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идетъ успѣшно. Слѣдовало бы сказать не *хотя*, а *тѣмъ больше*, что идетъ успѣшно. Чѣмъ ближе она подвигается къ концу, тѣмъ все страшнѣе и страшнѣе кажется мнѣ то, что я написалъ. И кажется мнѣ еще, что это—моя послѣдняя картина.

Вотъ онъ сидитъ передо мною въ темномъ углу котла, скорчившійся въ три погибели, одѣтый въ лохмотья, задыхающійся отъ усталости человѣкъ. Его совсѣмъ не было бы видно, если бы не свѣтъ, проходящій сквозь круглыя дыры, просверленные для заклепокъ. Кружки этого свѣта пестрятъ его одежду и лицо: свѣтятся золотыми пятнами на его

лохмотьяхъ, на включенной и законченной бородѣ и волосахъ, на багрово-красномъ лицѣ, по которому струится потъ, смѣшанный съ грязью, на жилистыхъ надорванныхъ рукахъ и на измученной широкой и впадой груди. Постоянно повторяющійся страшный удар обрушивается на котель и заставляетъ несчастнаго глухаря напрягать всѣ свои силы, чтобы удержаться въ своей невѣроятной позѣ. Насколько можно было выразить это напряженное усиліе, я выразилъ.

Иногда я кладу палиттуру и кисти и усаживаюсь подалеже отъ картины, прямо противъ нея. Я доволенъ ею; ничто мнѣ такъ не удавалось, какъ эта ужасная вещь. Бѣда только въ томъ, что это довольство не ласкаетъ меня, а мучаетъ. Это—не написанная картина, это—созрѣвшая болѣзнь. Чѣмъ она разрѣшится, я не знаю; но чувствую что послѣ этой картины мнѣ нечего уже будетъ писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессіями и типичнѣйшими фізіономіями, вся эта «богатая область жанра»—на что мнѣ теперь она? Я ничѣмъ уже не подѣйствую такъ, какъ этимъ глухаремъ, если только подѣйствую...

Сдѣлавъ опытъ: позвалъ Дѣдова и показалъ ему картину. Онъ сказалъ только: «ну, батенька», и развелъ руками. Усѣлся, смотрѣлъ полчаса, потомъ молча простился и ушелъ. Кажется, подѣйствовало... Но вѣдь онъ все-таки художникъ.

И я сижу передъ своей картиной, и на меня она

дѣйствуетъ. Смотришь и не можешь оторваться. чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мнѣ даже слышатся удары молота... Я отъ него сойду съ ума. Нужно его завѣсить.

Полотно покрыло мольбертъ съ картиной, а я все сижу передъ нимъ, думая все о томъ же неопредѣленномъ и странномъ, что такъ мучаетъ меня. Солнце заходитъ и бросаетъ косую желтую полосу свѣта сквозь пыльные стекла на мольбертъ, завѣшанный холстомъ. Точно человѣческая фигура. Точно Духъ земли въ «Фаустѣ», какъ его изображаютъ нѣмецкіе актеры.

...Wer ruft mir?

Кто позовалъ тебя? Я, я самъ создалъ тебя здѣсь. Я вызвалъ тебя, только не изъ какойнибудь «сферы», а изъ душнаго, темнаго котла, чтобы ты ужаснуль своимъ видомъ эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Прийди, силою моею власти прикованный къ полотну, смотри съ него на эти фракы и трэны. крикни имъ: я — язва расгущая! Ударь ихъ въ сердце, липи ихъ сна, стань передъ ихъ глазами призракомъ! Убей ихъ спокойствіе, какъ ты убилъ мое...

Да, какъ бы не такъ!.. Картина кончена, вставлена въ золотую раму; два сторожа потащатъ ее на головахъ въ академію на выставку. И вотъ она стоитъ среди «полдней» и «закатовъ», рядомъ съ «дѣвочкой съ кошкой», недалеко отъ какого-нибудь

трехсаженнаго «Іоанна Грознаго, вонзающаго посохъ въ ногу Васьки Шибалова». Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрѣли; будутъ смотрѣть и даже хвалить. Художники начнутъ разбирать рисунокъ. Рецензенты, прислушиваясь къ нимъ, будутъ ширкать карандашиками въ своихъ записныхъ книжкахъ. Одинъ г. В. С. выше замѣтваній; онъ смотритъ, одобряетъ, превозноситъ, пожмаетъ мнѣ руку. Художественный критикъ Л. съ яростью набросится на бѣднаго глухаря, будетъ кричать: но гдѣ же тутъ изящное, скажите, гдѣ тутъ изящное? и разругаетъ меня на всѣ корки. Публика... Публика проходитъ мимо безстрастно или съ непріятной гримасой; дамы—тѣ только скажутъ: «ah, comme il est laid ce глухарь», и поплывутъ къ слѣдующей картинѣ, къ «дѣвочкѣ съ кошкой», смотря на которую, скажутъ: «очень, очень мило», или что-нибудь подобное. Солідные господа съ бычьими глазами поглазбуютъ, потупятъ взоры въ каталогъ, псусятъ не то мычанье, не то сопѣнье и благополучно прослѣдуютъ далѣе. И развѣ только какой-нибудь юноша или молодая дѣвушка остановятся со вниманіемъ и прочтутъ въ измученныхъ глазахъ, страдальчески смотрящихъ съ полотна, вопль, вложенный мною въ нихъ.

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что-жъ будетъ со мною? То, что я пережилъ въ послѣдніе дни, погибнетъ ли безслѣдно? Кончится ли все только однимъ волненіемъ, послѣ



котораго наступить отдыхъ съ исканіемъ невинныхъ сюжетовъ?.. Невинные сюжеты! Вдругъ вспомнилось мнѣ, какъ одинъ знакомый хранитель галлерей, составляя каталогъ, кричалъ писцу:

— Мартыновъ, пиши! № 112. Первая любовная сцена: дѣвушка срываетъ розу.

— Мартыновъ, еще пиши № 113. Вторая любовная сцена: дѣвушка нюхаетъ розу.

Буду ли я попрежнему нюхать розу? Или сойду съ рельсовъ?

## VI.

### Д ѣ д о в ъ.

Рябининъ почти кончилъ своего «глухаря» и сегодня позвалъ меня посмотреть. Я шелъ къ нему съ предвзятымъ мнѣніемъ и, нужно сказать, долженъ былъ измѣнить его. Очень сильное впечатлѣніе. Рисунокъ прекрасный. Лѣпка рельефная. Лучше всего это фантастическое и въ то же время высоко-истинное освѣщеніе. Картина, безъ сомнѣнія, была бы съ достоинствами, если бы только не этотъ странный и дикій сюжетъ. Л. совершенно согласенъ со мною, и на будущей недѣлѣ въ газетѣ появится его статья. Посмотримъ, что скажетъ тогда Рябининъ. Л—у, конечно, будетъ трудно разобрать его картину со стороны техники, но онъ сумѣетъ коснуться ея значенія, какъ произведенія *искусства*, которое не

тернить, чтобы его низводили до служенія какимъ-то низкимъ и туманнымъ идеямъ.

Сегодня Л. былъ у меня. Очень хвалилъ. Сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній относительно разсыхъ мелочей, но въ общемъ очень хвалилъ. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу, наконецъ, того, къ чему стремится каждый ученикъ академіи — золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счетъ, впереди — профессура... Нѣтъ, я не ошибся, бросивъ эту печальную будничную работу, грязную работу, гдѣ на каждомъ шагѣ натъкаешься на какого-нибудь рябининскаго глухаря.

### VIII.

#### Р я б и н и н ъ.

Картина продана и увезена въ Москву. Я получилъ за нее деньги и, по требованію товарщицы, долженъ былъ устроить имъ увеселеніе въ «Вѣнѣ». Не знаю, съ какихъ поръ это повелось, но почти всѣ пирушки молодыхъ художниковъ происходятъ въ угольномъ кабинетѣ этой гостиницы. Кабинетъ этотъ — большая, высокая комната съ люстрой, съ бронзовыми канделябрами, съ коврами и мебелью, почернѣвшими отъ времени и табачнаго дыма, съ ролямъ, много потрудившимся на своемъ вѣку подъ разгулявшимся пальцами импровизированныхъ

ньянистовъ; одно только огромное зеркало ново, потому что оно перемѣняется дважды или трижды въ годъ, всякій разъ, какъ вмѣсто художниковъ въ угольномъ кабинетѣ кутятъ кучки.

Собралась цѣлая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента изъ какихъ-то маленькихъ газетъ, нѣсколько постороннихъ лицъ. Начали пить и разговаривать. Черезъ полчаса всѣ уже были навеселѣ. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорилъ рѣчь. Потомъ цѣловался съ рецензентомъ и шлъ съ нимъ брудершафтъ. Пили, говорили и цѣловались много и разошлись по домамъ въ четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлегъ въ томъ же угольномъ номерѣ гостиницы «Вѣна».

Я едва добрался домой и нераздѣтый бросился на постель, причемъ испыталъ что-то въ родѣ качки на кораблѣ: казалось, что комната качается и кружится вмѣстѣ съ постелью и со мною. Это продолжалось минуты двѣ; потомъ я уснулъ.

Уснулъ, спалъ и проснулся очень поздно. Голова болитъ; въ тѣло точно свинцу цалили. Я долго не могу раскрыть глазъ, а когда раскрываю ихъ, то вижу мольбертъ—пустой безъ картицы. Онъ напоминаетъ мнѣ о пережитыхъ дняхъ, и вотъ все снова, сначала... Ахъ, Боже мой, да надо же это кончить!

Голова болитъ больше и больше, туманъ наплываетъ на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова за-

сышаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокругъ меня, или оглушительный шумъ, хаосъ звуковъ, необыкновенный, страшный для уха. Можетъ быть, это—и тишина, но въ ней что-то звонитъ и стучитъ, вертится и летаетъ. Точно огромный тысячесильный насосъ, выкачивающій воду изъ бездонной пропасти, качается и шумитъ, и слышатся глухіе раскаты падающей воды и удары машины. И надъ всёмъ этимъ одна нота, безконечная, тянущаяся, томящая. И мнѣ хочется открыть глаза, встать, подойти къ окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человѣческій голосъ, стукъ дрожекъ, собачій лай и избавиться отъ этого вѣчнаго гама. Но силъ нѣтъ! Я вчера былъ пьянъ. И я долженъ лежать и слушать, слушать безъ конца.

И я просыпаюсь, и снова засыпаю. Снова стучитъ и гремитъ гдѣ-то рѣзче, ближе и опредѣленнѣе. Удары приближаются и бьютъ вмѣстѣ съ моимъ пульсомъ. Во мнѣ они, въ моей головѣ, или внѣ меня? Звонко, рѣзко, четко... разъ-два, разъ-два... Бьютъ по металлу и еще почему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугунъ гудитъ и дрожитъ. Молотъ сначала тупо звякаетъ, какъ будто надаетъ въ вязкую массу, а потомъ бьютъ звонче и звонче, и, наконецъ, какъ колоколь гудитъ огромный котель. Потомъ остановка, потомъ снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звонъ. Да, это такъ: сначала бьютъ по вязкому, раскаленному железу, а потомъ оно застываетъ. И котель гудитъ.



когда головка заклепки уже затвердѣла. Понялъ. Но тѣ, другіе звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилаетъ мнѣ мозгъ. Кажется, что такъ легко припомнить, такъ и вертится въ головѣ, мучительно близко вертится, а что именно — не знаю. Никакъ не схватить... Пусть стучить, оставимъ это. Я знаю, но только не помню.

И шумъ увеличивается и уменьшается, то разростаясь до мучительно-чудовищныхъ размѣровъ, то будто-бы совсѣмъ исчезая. И кажется мнѣ, что не онъ исчезаетъ, а я самъ въ это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцемъ, поднять вѣкъ, крикнуть. Оцѣпенѣшіе держитъ меня, и ужасъ охватываетъ меня, и я просыпаюсь весь въ жару. Просыпаюсь не совсѣмъ, а въ какой-то другой сощъ. Чудится мнѣ, что я опять на заводѣ, только не на томъ, гдѣ былъ съ Дѣдовымъ. Этотъ гораздо громаднѣе и мрачнѣе. Со всѣхъ сторонъ гигантскія печи, чудной, не виданной формы. Снопамы вылетаетъ изъ нихъ пламя и коптитъ крышу и стѣну зданія, уже давно черныя, какъ уголь. Машины качаются и визжатъ, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бѣгущими и дрожащими ремнями: нигдѣ ни души. Гдѣ-то стукъ и грохотъ: тамъ-то идетъ работа. Тамъ неистовый крикъ и неистовые удары; мнѣ страшно идти туда, но меня подхватываетъ и несетъ, и удары все громче, и крики страшнѣе. И вотъ все сливается въ ревъ.

и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на землѣ отъ ударовъ, сыплющихся на него со всѣхъ сторонъ. Цѣлая толпа бьетъ, кто чѣмъ попало. Тутъ всѣ мои знакомые съ остервенѣлыми лицами колотятъ молотами, ломами, палками, кулаками это существо, которому я не прибравъ названія. Я знаю, что это — все онъ же... Я кидаюсь впередъ, хочу крикнуть: «перестаньте! за что!» и вдругъ вижу блѣдное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это мое собственное лицо. Я вижу, какъ я самъ, другой я самъ, замахивается молотомъ, чтобы нанесилъ неистовый ударъ...

Тогда молотъ опустился на мой черепъ. Все исчезло; нѣкоторое время я сознавалъ еще мракъ, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и самъ исчезъ куда-то...

Рябининъ лежалъ въ совершенномъ безпамятствѣ до самаго вечера. Наконецъ, хозяйка-чухонка, вспомнивъ, что жилецъ сегодня не выходилъ изъ комнаты, догадалась войти къ нему и, увидѣвъ бѣднаго юцошу разметававшимся въ сильнѣйшемъ жару и бормотававшего всякую чепуху, испугалась, испустила какое-то восклицаніе на своемъ непонятномъ діалектѣ и послала дѣвочку за докторомъ. Докторъ пріѣхалъ, посмотрѣлъ, пощупалъ, послушалъ, помычалъ, присѣлъ къ столу и, прописавъ рецептъ, уѣхалъ, а Рябининъ продолжалъ бредить и метаться.

IX.

Д ѣ д о в ъ .

Бѣдняга Рябининъ заболѣлъ послѣ вчерашняго кутежа. Я заходилъ къ нему и засталъ его лежащимъ безъ памяти. Хозяйка ухаживаетъ за нимъ. Я долженъ былъ дать ей денегъ, потому что въ столѣ у Рябинина не оказалось ни копѣйки; не знаю, станцла ли все проклятая баба или, можетъ быть, все осталось въ «Вѣнѣ». Правда, кутнули вчера порядочно; было очень весело; мы съ Рябининымъ шли брудершафтъ. Я пилъ также съ Л. Прекрасная душа этотъ Л. и какъ понимаетъ искусство! Въ своей послѣдней статьѣ онъ такъ тонко понялъ, что я хотѣлъ сказать своей картиной, какъ никто, за что я ему глубоко благодаренъ. Нужно бы написать маленькую вещицу, такъ что-нибудь à la Клеверъ, и подарить ему. Да, кстати, его зовутъ Александръ; не завтра ли его именины?

Однако, бѣдному Рябинину можетъ прійтись очень плохо; его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срокъ уже не за горами. Если онъ проболѣетъ съ мѣсяць, то не получитъ медали. Тогда—прощай за-граница! Я очень радъ одному, что, какъ пейзажистъ, не соперничаю съ нимъ; а его товарищи, должно быть, таки потираютъ руки. И то сказать: однимъ мѣстомъ больше.

А Рябиница нельзя бросить на произвол судьбы: нужно свезти его въ больницу.

## Х.

### Р я б и н и н ь .

Сегодня, очнувшись послѣ многихъ дней безпамятства, я долго соображалъ, гдѣ я. Сначала даже не могъ понять, что этотъ длинный бѣлый свертокъ, лежащій передъ моими глазами, — мое собственное тѣло, обернутое одѣяломъ. Съ большимъ трудомъ повернувъ голову направо и налево, отчего у меня зашумѣло въ ушахъ, я увидѣлъ слабо освѣщенную длинную палату съ двумя рядами постелей, на которыхъ лежали закутанныя фигуры больныхъ, какого-то рыцаря въ мѣдныхъ доспѣхахъ, стоявшаго между большихъ оконъ съ опущенными бѣлыми шторами и оказавшагося просто огромнымъ мѣднымъ умывальникомъ, образъ Спасителя въ углу съ слабо теплившеюся лампадкою, двѣ колоссальныя кафельныя печи. Услышалъ я тихое, прерывистое дыханіе сосѣда, kloкотавшіе вздохи больного, лежавшаго гдѣ-то подале, еще чье-то мирное сонѣнье и богатырскій храпъ сторожа, вѣроятно, приставленнаго дежурить у постели опаснаго больного, который, можетъ быть, живъ, а, можетъ быть, уже и умеръ и лежитъ здѣсь такъ же, какъ и мы, живые.

Мы, живые... «Живъ», подумалъ я и даже про-



шепталъ это слово. И вдругъ то необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывалъ съ самаго дѣтства, нахлынуло на меня вмѣстѣ съ сознаниемъ, что я далекъ отъ смерти, что впереди еще цѣлая жизнь, которую я навѣрно съумѣю повернуть по своему (о! навѣрно съумѣю), и я, хотя съ трудомъ, повернулся на бокъ, поджалъ ноги, подложилъ ладонь подъ голову и заснулъ. точно такъ, какъ въ дѣтствѣ, когда, бывало, проснешься ночью возлѣ спящей матери, когда въ окно стучитъ вѣтеръ и въ трубѣ жалобно воетъ буря, и бревна дома стрѣляютъ, какъ изъ пистолета, отъ лютаго мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь, и желая разбудить мать, и она проснется, сквозь сонъ подѣлуешь и перекрестить, и, успокоенный, свертываешься калачикомъ и засышаешь съ отрадой въ маленькой душѣ.

---

Боже мой, какъ я ослабѣлъ? Сегодня цопробовалъ встать и пройти отъ своей кровати къ кровати моего сосѣда напротивъ, какого-то студента, выздоравливающего отъ горячки, и едва не свалился на полудорогѣ. Но голова поправляется скорѣе тѣла. Когда я очнулся, я почти ничего не помнилъ, и приходилось съ трудомъ вспоминать даже имена близкихъ знакомыхъ. Теперь все вернулось, но не какъ прошлая дѣйствительность, а какъ сонъ. Теперь онъ меня не мучаетъ, нѣтъ. Старое прошло безвозвратно.

Дѣдовъ сегодня пригласилъ мнѣ цѣлый ворохъ газетъ, въ которыхъ расхваливаются мой «Глухарь» и его «Утро». Одинъ только Л. не похвалилъ меня. Впрочемъ, теперь это все равно. Это такъ далеко, далеко отъ меня. За Дѣдова я очень радъ; онъ получилъ большую золотую медаль, и скоро уѣзжаетъ за границу. Доволенъ и счастливъ невыразимо; лицо сіяетъ, какъ масляный блинъ. Онъ спросилъ меня: намѣренъ ли я конкурировать въ будущемъ году, послѣ того, какъ теперь мнѣ помѣшала болѣзнь? Нужно было видѣть, какъ онъ вытаращилъ глаза, когда я сказалъ ему «нѣтъ».

— Серьезно?

— Совершенно серьезно, отвѣтилъ я.

— Что же вы будете дѣлать?

— А вотъ посмотрю.

Онъ ушелъ отъ меня въ совершенномъ недоумѣніи.

## XI.

### Дѣдовъ.

Эти двѣ недѣли я прожилъ въ туманѣ, волненіи, нетерпѣніи, и успокоился только сейчасъ, сидя въ вагонѣ варшавской желѣзной дороги. Я самъ себѣ не вѣрю: я—пенсіонеръ академіи, художникъ, ѣдущій на четыре года за границу совершенствоваться въ искусствѣ! *Vivat Academia!*

Но Рябининъ, Рябининъ! Сегодня я видѣлся съ нимъ на улицѣ, усаживаясь въ карету, чтобы ѣхать на вокзалъ. «Поздравляю, говоритъ, и меня тоже поздравьте».

— Съ чѣмъ это?

— Сейчасъ только выдержалъ экзаменъ въ учительскую семинарію.

Въ учительскую семинарію!! Художникъ, талантъ! Да онъ пропадетъ, погибнетъ въ деревнѣ. Ну, не сумасшедшій ли это человѣкъ?

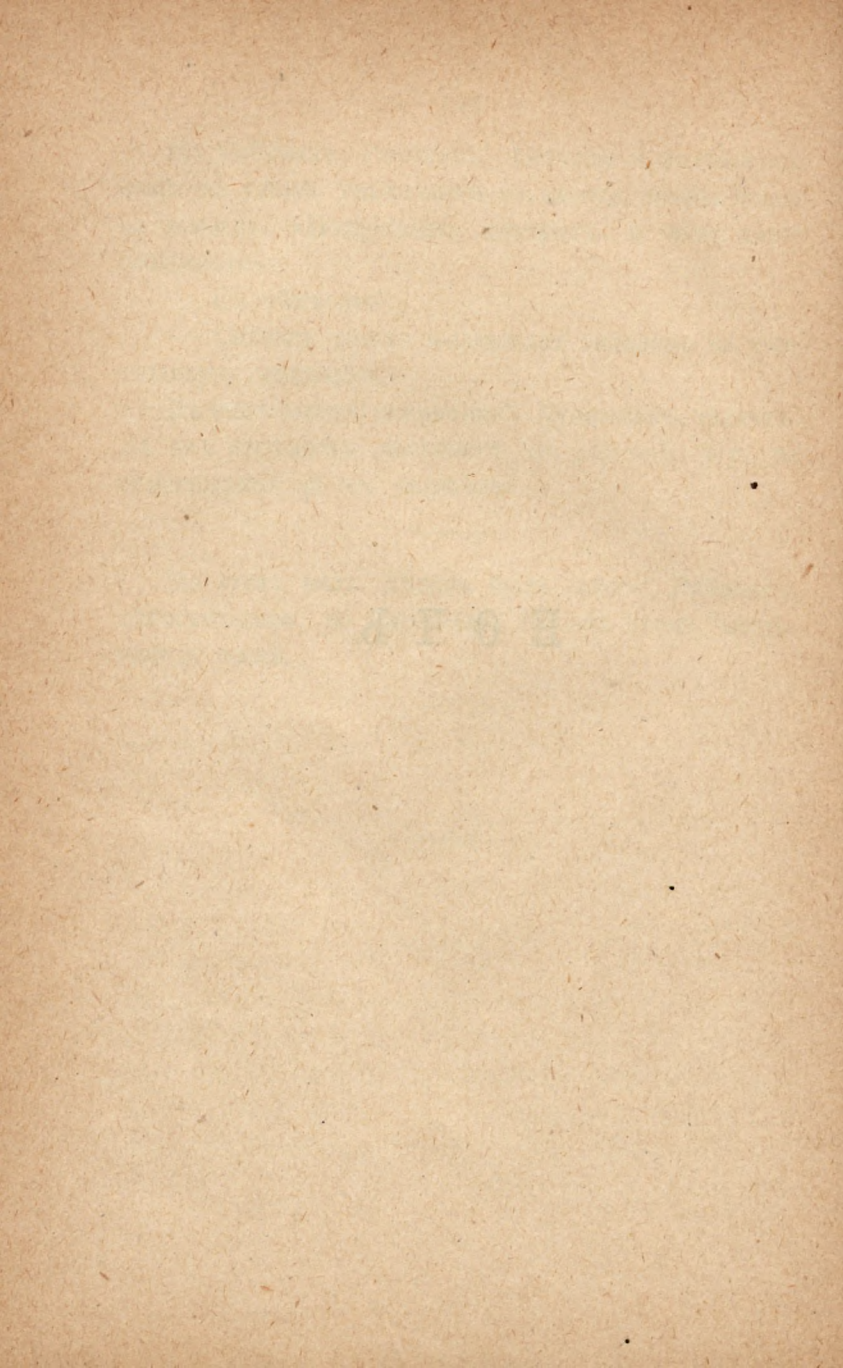
---

На этотъ разъ Дѣдовъ былъ правъ: Рябининъ, дѣйствительно, не преуспѣлъ. Но объ этомъ когда-нибудь послѣ.

---

Н О Ч Ь.





## Н О Ч Ъ.

### I.

Карманные часы, лежавшіе на письменномъ столѣ, торопливо и однообразно пѣли двѣ нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонкимъ ухомъ; а ихъ хозяину, блѣдному господину, сидѣвшему передъ этимъ столомъ, постукиванье часовъ казалось цѣлою пѣснею.

— Эта пѣсня безотраднѣе и увѣла, говорилъ самъ съ собой блѣдный человѣкъ:—само время напѣваетъ ее и, какъ будто бы въ назиданіе мнѣ, напѣваетъ такъ удивительно однообразно. Три, четыре, десять лѣтъ тому назадъ, часы стучали точно такъ же, какъ и теперь, и черезъ десять лѣтъ будутъ стучать точно такъ же... совершенно точно такъ же.

И блѣдный человѣкъ бросилъ на нихъ мутный

взглядъ и сейчасъ же отвелъ глаза туда, куда, ничего не видя, смотрѣлъ раньше.

— Подъ тактъ ихъ хода прошла вся жизнь съ своимъ кажущимся разнообразіемъ: съ горемъ и радостью, съ отчаяньемъ и восторгомъ, съ ненавистью и любовью. И только теперь, въ эту ночь, когда все спитъ въ огромномъ городѣ и въ огромномъ домѣ, и когда нѣтъ никакихъ звуковъ, кромѣ біенія сердца, да постукиванья часовъ, только теперь вижу я, что всѣ эти огорченія, радости, восторги и все, случившееся въ жизни — все это безтѣлесныя призраки. Одни — за которыми я гонялся, не зная зачѣмъ; другіе — отъ которыхъ бѣгалъ, не зная почему. Я не зналъ тогда, что въ жизни есть только одно дѣйствительно существующее — время. Время, идущее безошадно ровно, не останавливаясь тамъ, гдѣ хотѣлъ бы остановиться подольше несчастный, живущій минутою человѣкъ, и испробовывающее шага ни на іоту даже тогда, когда дѣйствительность такъ тяжела, что хотѣлось бы сдѣлать ее прошедшимъ сномъ; время, знающее только одну пѣсню, ту, которую я слышу теперь такъ мучительно-отчетливо.

Онъ думалъ это, а часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вѣчную пѣсенку времени. Многого напоминала ему эта пѣсня.

— Право, странно. Я знаю, бываетъ, что какой-нибудь особенный запахъ, или предметъ необыкновенной формы, или рѣзкій мотивъ вызы-

ваютъ въ памяти цѣлую картину изъ давно пережитаго. Я помню: умиралъ при мнѣ человѣкъ; шарманщикъ - итальянецъ остановился передъ раскрытымъ окномъ, и въ ту самую минуту, когда больной уже сказалъ свои послѣднія безсвязныя слова и, закинувъ голову, хрипѣлъ въ агоніи, раздался пошлый мотивъ изъ «Марты».

У дѣвиць  
Есть для птицъ  
Стрѣлы каленныя...

И съ тѣхъ поръ, всякій разъ, когда мнѣ случается услышать этотъ мотивъ—а я и до сихъ поръ слышу его иногда: пошлости долго не умираютъ—передъ моими глазами тотчасъ же является измятая подушка и въ ней блѣдное лицо. Когда же я вижу похороны, маленькая шарманка тотчасъ начинаетъ наигрывать мнѣ въ ухо:

У дѣвиць есть для птицъ...

Фу, гадость какая!.. Да, о чемъ бишь я началъ думать? Вотъ, вотъ: отчего часы, къ звуку которыхъ, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминаютъ мнѣ такъ много? Всю жизнь. «Помни, помни...» Помню! даже слишкомъ хорошо помню, даже то, что лучше бы не вспоминать. Отъ этихъ воспоминаній искажается лицо, кулакъ сжимается и бѣшено бьетъ по столу... Вотъ теперь ударъ заглушилъ пѣсню часовъ, и одно мгновеніе



я не слышу ея, но только одно мгновенье, послѣ котораго снова раздается дерзко, назойливо и упрямо:

— Помни, помни, помни...

О да, я помню. Мнѣ не нужно напоминать. Вся жизнь—вотъ она, какъ на ладони. Есть чѣмъ полюбоваться!

Онъ крикнулъ это вслухъ надорваннымъ голосомъ; ему сжимало горло. Онъ думалъ, что видѣлъ всю свою жизнь; онъ вспомнилъ рядъ безобразныхъ и мрачныхъ картинъ, дѣйствующимъ лицомъ которыхъ былъ самъ; вспомнилъ всю грязь своей жизни, перевернулъ всю грязь своей души, не нашелъ въ ней ни одной чистой и свѣтлой частицы, и былъ увѣренъ, что кромѣ грязи въ его душѣ ничего не осталось.

— Не только не осталось, но никогда ничего и не было, поправился онъ.

Слабѣй, робкѣй голосъ откуда-то изъ далекаго уголка его души сказалъ ему:

— Полно, не было ли?

Онъ не разслышалъ этого голоса—или, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ передъ самимъ собою видъ, что не разслышалъ его, и продолжалъ терзать себя.

— Все перебралъ я въ своей памяти, и кажется мнѣ, что я правъ, что остановиться не на чемъ, некуда поставить ногу, чтобы сдѣлать первый шагъ впередъ. Куда впередъ? Не знаю, но только вонъ изъ этого заколдованнаго круга. Въ прошломъ нѣтъ опоры, потому что все ложь, все

обманъ. И лгалъ и обманывалъ я самъ и самого себя, не оглядываясь. Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, рассказывающій о своихъ богатствахъ, которыя гдѣ-то «тамъ», «не получены», но которыя есть, и занимающій деньги направо и налѣво. Я всю жизнь долженъ самому себѣ. Теперь насталъ срокъ расчета—и я банкротъ, злостный, завѣдомый...

Онъ передумывалъ эти слова даже съ какимъ-то странымъ наслажденіемъ. Онъ какъ будто бы гордился ими. Онъ не замѣчалъ, что, называя всю свою жизнь обманомъ и смѣшивая себя съ грязью, онъ и теперь лгалъ тою же худшею въ мірѣ ложью, ложью самому себѣ. Потому что, на самомъ дѣлѣ, онъ совсѣмъ не цѣнилъ себя такъ низко. Пусть кто-нибудь сказалъ бы ему даже десятую часть того, что онъ самъ наговорилъ на себя въ этотъ долгій вечеръ—и на его лицѣ выступила бы краска не стыда отъ признанія правды упрека, а гнѣва. И онъ стумѣлъ бы отвѣтить обидчику, задѣвшему его гордость, которую теперь онъ самъ, повидимому, такъ безжалостно топталъ.

Самъ ли онъ? Онъ дошелъ до такого состоянія, что уже не могъ сказать о себѣ: я самъ. Въ его душѣ говорили какіе-то голоса: говорили они разное, и какой изъ этихъ голосовъ принадлежалъ именно ему, его я, онъ самъ не могъ понять. Первый голосъ его души, самый ясный, бичевалъ его опредѣленными, даже красивыми фразами. Второй голосъ,

не ясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушалъ первый. «Не казнись, говорилъ онъ:—зачѣмъ? Лучше обманывай до конца, обмани всѣхъ. Сдѣлай изъ себя для другихъ не то, что ты есть, и будетъ тебѣ хорошо», Былъ еще третій голосъ, тотъ самый, что спрашивалъ: «полно, не было ли?» но этотъ голосъ говорилъ робко и едва слышно. Да онъ и не старался слышать его.

— Обмани всѣхъ... Сдѣлай изъ себя не то, что ты есть... Да развѣ я не старался дѣлать это всю жизнь? Развѣ я не обманывалъ, развѣ не разыгрывалъ роль изъ фарса? И развѣ вышло «хорошо?» Вышло то, что даже теперь я ломаюсь, какъ актеръ, даже теперь я не то, что я на самомъ дѣлѣ? Правда, развѣ я знаю, что я такое на самомъ дѣлѣ? Я слишкомъ запугался, чтобы знать. Но все равно, я чувствую, что ломаюсь вотъ уже нѣсколько часовъ подрядъ и говорю себѣ жалкія слова, которымъ самъ не вѣрю, говорю даже теперь, передъ смертью. Да неужели же передъ смертью? Да, да, да! прокричалъ онъ вслухъ, каждый разъ злобно надавливая кулакомъ на край стола. — Нужно же, наконецъ, выбраться изъ путаницы. Узелъ завязанъ такъ, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачѣмъ только было тянуть, надрывать себѣ душу, и безъ того изорванную въ отренье? зачѣмъ было, разъ рѣшившись, спдѣть истуканомъ съ восьми часовъ вечера до сихъ поръ?

И онъ сталъ торопливо вытаскивать изъ бокового кармана шубы револьверъ.

II.

Онъ дѣйствительно сидѣлъ на одномъ мѣстѣ съ восьми часовъ вечера до трехъ ночи.

Въ семь часовъ вечера этого послѣдняго дня его жизни, онъ вышелъ изъ своей квартиры, нанялъ извозника, усѣлся, сгорбившись, на саняхъ и поѣхалъ на другой конецъ города. Тамъ жилъ его старшій пріятель, докторъ, который, какъ онъ зналъ, сегодня вмѣстѣ съ женою отпраплялся въ театръ. Онъ зналъ, что не застанетъ дома хозяевъ и ѣхалъ вовсе не для того, чтобы повидаться съ ними. Его навѣрно впустятъ въ кабинетъ, какъ близкаго знакомаго, а это только и было нужно.

— Да, навѣрно впустятъ; скажу, что надо написать письмо. Какъ бы только Дуняша не вздумала торчать при мнѣ въ кабинетѣ... Ну, дядя, поѣзжай скорѣе! крикнулъ онъ извознику.

Извозникъ—маленькій, съ сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цвѣтнымъ шарфомъ, вылѣзавшимъ изъ очень широкаго воротника, и съ изжелта-сѣдыми кудрями, выстунавшими изъ подъ огромной круглой шапки—чмокнулъ, задергалъ возжами, еще разъ чмокнулъ и торопливо заговорилъ разбитымъ голосомъ:

— Доставимъ, батюшка, не сомнѣвайтесь. ваше благородіе. Но, по!.. Ишь, баловница! Эка лошадь,



прости Господи! Но!—Онъ хлестнулъ ее кнутомъ, на что она отвѣтила легкимъ движеніемъ хвоста.—И н радъ угодить, да лошадку-то хозяинъ даль... просто такая ужъ... Обижаются господа, что тутъ будешь дѣлать. А хозяинъ говоритъ: ты, говоритъ, дѣдушка, старъ, такъ вотъ тебѣ и скотинка старая. Ровесники, говоритъ, будете. А ребята наши смѣются. Рады глотки драть; имъ что? Извѣстно, развѣ понимаютъ?

— Не понимаютъ? спросилъ сѣдокъ, въ это время думавшій о томъ, какъ бы не впустить Дуцяшу въ кабинетъ.

— Не понимаютъ, ваше благородіе, не понимаютъ; гдѣ имъ понять! Глупые они, молодые. У насъ во дворѣ одинъ я старикъ. Развѣ можно старика забиждать? Я восьмой десятокъ на свѣтѣ живу, а они зубы скалятъ. Двадцать три года солдатомъ служилъ... Извѣстно, глупые... Ну, старая! застыла!

Онъ опять хлестнулъ лошадь кнутомъ, но такъ какъ она не обратила на ударъ никакого вниманія, то прибавилъ:

— Что съ ея сдѣлаешь: тоже ужъ двадцать первый годъ, должно, пошелъ. Ишь, хвостомъ трясеть...

На освѣщенномъ циферблатѣ часовъ, поставленныхъ въ одномъ изъ оконъ огромнаго зданія, стрѣлки показывали половину восьмого.

— Уѣхали ужъ, должно быть, подумалъ сѣдокъ

про доктора съ женой.—А можетъ быть, и нѣтъ еще... Дѣдушка, не гони, пожалуй! поѣзжай потише: мнѣ торопиться некуда.

— Извѣстно, батюшка, некуда, обрадовался старикъ.—Такъ-то лучше, потихоньку. По, старая!

Ѣхали нѣкоторое время молча. Потомъ старикъ осмѣлѣлъ.

— Ты вотъ мнѣ что, баринъ, скажи, вдругъ заговорилъ онъ, обернувшись къ сѣдоку, причемъ показал свое сморщенное въ кулачокъ лицо съ жиденькой сѣдой бородой и красными вѣками:—откуда такая напасть на человѣка? Былъ извощикъ у насъ. Иваномъ звали. Молодой, годовъ ему было двадцать пять, а то и меньше. И кто его знаетъ съ чего, съ какой такой причины, паложилъ на себя парень рупк.

— Кто? тихо и хрипло спросилъ сѣдокъ.

— Да Иванъ-то, Иванъ Сидоровъ. Въ извощикахъ у насъ жилъ. Веселый былъ парень и работящій, прямо тебѣ скажу. То-есть вотъ какой! Ну вотъ, въ понедѣльникъ, поужинали мы, легли спать. А Иванъ, не ужинавши, легъ. Голову, говоритъ, ломитъ. Спимъ это мы, а онъ ночью всталъ и ушелъ. Только-что никто этого не видѣлъ. Пошли утромъ закладывать, а онъ въ конюшнѣ на гвоздѣ. Сбрую съ гвоздя снялъ, возлѣ положилъ — веревку прицѣпилъ... Ахъ ты, Господи! Такъ это тогда, словно бы по сердцу. И что этому за причина, чтобы извощикъ

повѣсилъ! Какъ можно это, чтобы извозчику вѣшаться! Дивное дѣло!

— Отчего-же? спросилъ сѣдокъ откашливаясь и дрожащими руками плотнѣе завертываясь въ шубу.

— Мыслей этихъ самыхъ нѣтъ у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная: утромъ, ни свѣтъ, ни заря, закладывай, да со двора. Извѣстно, морозъ, холодъ. Тутъ ему только бы въ трактиръ погрѣться, да выручку исправить, чтобы вполнѣ два двадцать пять, да на квартиру—и спи. Тутъ думать трудно. Вотъ вашему брату, барину, ну, вамъ извѣстно, всякое въ голову лѣзетъ съ пищи съ этой.

— Съ какой такой пищи?

— Съ хлѣбовъ съ легкихъ. Потому, встанетъ баринъ, надѣнетъ халатъ, чайку попьетъ и давай по комнатѣ ходить. Ходить, а грѣхъ-то вокругъ. Видалъ я тоже, знаю. Въ полку было у насъ, въ Тенгинскомъ—на Кавказѣ служилъ тогда—баринъ былъ, поручикъ князь Вихляевъ; въ деньчики меца къ нему отдали...

— Стой, стой! вдругъ заговорилъ сѣдокъ.— Вотъ сюда, къ фонарю. Я тутъ ужъ пѣшкомъ.

— Какъ угодно; пѣшкомъ, такъ пѣшкомъ. Благодарствуйте, ваше благородіе.

Извозчикъ повернулъ и исчезъ въ мятели, которая разъигрывалась, а сѣдокъ пошелъ понурою походкою впередъ. Черезъ десять минутъ, поднявшись въ третій этажъ средней руки парадной лѣстницы,

онъ позвонилъ у двери, обитой зеленымъ сукномъ и украшеной мѣдною ярко-очищеною дощечкою. Безконечно долго тянулись для него нѣсколько минутъ, пока не отворились двери. Тупое забытье охватило его; все исчезло и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившаго старика, такъ странно кстати пришедшаяся и заставившая его дойти нѣшкомъ, и даже намѣреніе, съ какимъ онъ явился сюда. Передъ глазами была только зеленая дверь съ черными тесемками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всемъ мірѣ была только одна она.

— Ахъ, Алексѣй Петровичъ!

Это Дуняша отворила дверь со свѣчей въ рукахъ.

— А баринъ съ барыней сейчасъ уѣхали; только-только съ лѣстницы сошли. Какъ это вы не встрѣтили.

— Уѣхали? Экая досада, право! солгалъ онъ такимъ страннымъ голосомъ, что на лицѣ смотрѣвшей ему въ глаза Дуняши выразилось недоумѣніе: — а мнѣ вѣдь нужно было. Слушайте. Дуняша, я сейчасъ въ кабинетъ къ барину на одну минуту... Можно? спросилъ онъ даже робкимъ голосомъ: — я сейчасъ, только записку... дѣло такое...

Онъ убѣдительно, съ просьбой въ глазахъ смотрѣлъ на нее, не раздѣваясь и не двигаясь съ мѣста. Дуняша сконфузилась.

— Да что это вы, Алексѣй Петровичъ, развѣ я



когда-нибудь... не въ первый разъ! обиженно сказала она.—Пожалуйте.

Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ все это, зачѣмъ я все это говорю! Она идетъ-таки за мною. Услать нужно. Куда ее ушлешь? Догадается, навѣрно догадается; даже уже теперь догадалась.

Дуняша ни о чемъ не догадывалась, хотя была до крайности удивлена страншымъ видомъ и поведениемъ гостя. Она оставалась одна въ цѣлой квартирѣ и была рада побыть хоть пять минутъ съ живымъ человѣкомъ. Поставивъ свѣчу на столъ, она стала у дверей.

— Уйди ты, уйди ради Бога, мысленно взывалъ къ ней Алексѣй Петровичъ. Онъ сѣлъ къ столу, взялъ листокъ бумаги и началъ придумывать, что бы написать, чувствуя на себѣ взглядъ Дуняши, который, какъ ему казалось, читалъ его мысли.

«Петръ Николаевичъ, писалъ онъ, останавливаясь послѣ каждаго слова:—я былъ у тебя по очень важному дѣлу, которое...

— Которое, которое, шепталъ онъ:—а она все стоитъ и стоитъ. Дуняша! подите, принесите мнѣ стаканъ воды, вдругъ громко и рѣзко проговорилъ онъ.

— Извольте, Алексѣй Петровичъ. Она повернулась и вышла.

Тогда гость поднялся со стула и на цыпочкахъ быстро пошелъ къ дивану, надъ которымъ докторъ

повѣсилъ револьверъ и саблю, служившіе ему въ турецкомъ походѣ. Онъ ловко и проворно отстегнулъ клапанъ кобуры, выхватилъ изъ нея револьверъ и сунулъ его въ боковой карманъ шубы, потомъ досталъ изъ мѣшечка, пришитаго къ кобурѣ, нѣсколько патроновъ и тоже сунулъ въ карманъ. Черезъ три минуты, стаканъ воды, принесенный Дуцяшею, былъ выпитъ, недописанное письмо залечатано и Алексѣй Петровичъ ѣхалъ домой. «Кончатъ надо, надо кончатъ!» вертѣлось у него въ головѣ. Но онъ не сталъ кончатъ тотчасъ же послѣ пріѣзда: войдя въ комнату и заперевъ ее на ключъ, онъ бросился, не раздѣваясь, на кресло, увидѣлъ фотографическую карточку, книгу, рисунокъ обоевъ, услышалъ тиликанье часовъ, забытыхъ имъ на столѣ, и задумался. И просидѣлъ, не шевельнувшись ни однимъ мускуломъ, до глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали.

### III.

Револьверъ долго не лѣзъ изъ узкаго кармана; потомъ, когда онъ лежалъ уже на столѣ, оказалось, что всѣ патроны, кромѣ одного, провалились въ маленькую прорѣху. Алексѣй Петровичъ снялъ шубу и взялъ-было ножикъ, чтобы распороть карманъ и вынуть патроны, но опомнился, криво усмѣхнулся однимъ концомъ занекшихся губъ и остановился.

— Зачѣмъ трудиться? довольно и одного.

— О да, очень довольно одного этого крохотнаго кусочка, чтобы исчезло все и на всегда. Весь міръ исчезнетъ: не будетъ ни сожалѣній, ни уязвленнаго самолюбія, ни упрека самому себѣ, ни людей, ненавидящихъ и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которыхъ видишь насквозь и презираешь, и передъ которыми все-таки притворяешься любящимъ и желающимъ добра. Не будетъ обмана себя и другихъ, будетъ правда, вѣчная правда существованія.

Онъ услышалъ свой голосъ; онъ уже не думалъ, а говорилъ вслухъ. И то, что онъ сказалъ, показалось ему отвратительнымъ.

— Опять тоже... Умираешь, убиваешь себя — и тутъ нельзя обойтись безъ разговоровъ. Для кого, передъ кѣмъ рисуешься? Передъ самимъ собою. Ахъ довольно, довольно, довольно... повторялъ онъ измученнымъ, упавшимъ голосомъ и дрожащими руками старался открыть непослушный затворъ револьвера. Затворъ послушался, наконецъ, открылся: намазанный саломъ патронъ вошелъ въ отверстіе барабана; курокъ взвелся будто самъ собою. Ничто не могло помѣшать смерти: револьверъ былъ образцовый, офицерскій, дверь была заперта, и никто не могъ войти.

— Ну-съ, Алексѣй Петровичъ! сказалъ онъ, крѣпко сжавъ рукоятку.

— А письмо? вдруг мелькнуло въ его головѣ.—  
Неужели умереть, не оставивъ ни строчки?

— Зачѣмъ, для кого? Вѣдь все исчезнетъ, ничего не будетъ; какое-же мнѣ дѣло...

— Такъ-то оно такъ. А все-таки напишу. Неужели не высказаться хоть одинъ разъ совершенно свободно, не стѣсняясь ничѣмъ, а главное — собою. Вѣдь это рѣдкій, очень рѣдкій случай, единственный.

Онъ положилъ револьверъ, вынулъ изъ ящика тетрадку почтовой бумаги и, перевернувъ нѣсколько перьевъ, которыя не писали, а ломались и портили бумагу, и испортивъ нѣсколько листовъ, наконецъ, вывелъ: Петербургъ, 28-го ноября 187\*. Потомъ рука сама побѣжала по бумагѣ, выводя слова и фразы, которыя онъ и самъ врядъ ли понималъ тогда.

Онъ писалъ, что умираетъ спокойно, потому что жалѣть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ—если только онъ дѣйствительно любилъ кого-нибудь, а не притворялся передъ самимъ собою, что любить—не въ состояніи удержать его жить, потому что «выдохлись». Да и не выдохлись, «нечему было выдыхаться», а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понялъ ихъ. Что онъ понялъ и себя, понялъ, что и въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дѣлалъ



злыхъ и несчастныхъ поступковъ не по неизмѣнно злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми. Что, тѣмъ не менѣе, онъ не считаетъ себя хуже «вась, остающихся лгать до конца дней своихъ», и не проситъ у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣніемъ къ людямъ, не меньшемъ, чѣмъ къ самому себѣ. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма:

— Прощайте,\* люди! прощайте, кровожадные, кривляющіяся обезьяны!

Нужно было только подписать письмо. Но когда онъ кончилъ писать, онъ почувствовалъ, что ему жарко; кровь прихлынула къ головѣ и застучала въ вспотѣвшихъ вискахъ. И, забывъ о револьверѣ и о томъ, что, избавившись отъ жизни, онъ избавится и отъ жара, онъ всталъ, подошелъ къ окну и отперъ форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снѣгъ пересталъ идти, небо было чисто; на другой сторонѣ улицы ослѣпительно бѣлый садъ, окутанный инеемъ, сверкалъ подъ луннымъ свѣтомъ. Нѣсколько звѣздъ смотрѣло изъ далекаго чистаго неба; одна изъ нихъ была ярче всѣхъ и горѣла красноватымъ сіяніемъ.

— Арктурѣ, прошепталъ Алексѣй Петровичъ.— Сколько лѣтъ я не видалъ этого Арктура? Еще въ гимназій, когда учился...

Ему не хотѣлось отвести глазъ отъ звѣзды. Кто-то быстро прошелъ по улицѣ, сильно стуча озябшими ногами по плитамъ панели и ежась въ хо-

лодномъ пальто; карета провизжала колесами по подмерзшему снѣгу; проѣхалъ извозчикъ съ толстымъ бариномъ, а Алексѣй Петровичъ все стоялъ, какъ застывшій.

— Нужно же! сказалъ онъ себѣ, наконецъ.

Онъ пошелъ къ столу. Отъ окна до стола было всего двѣ сажени, но ему казалось, что онъ шелъ очень долго. Когда, подойдя, онъ уже взялъ револьверъ, въ открытое окно раздался далекій, но ясный, дрожащій звукъ колокола.

— Колоколъ! сказалъ Алексѣй Петровичъ, удивившись, и, положивъ револьверъ снова на столъ, сѣлъ въ кресло.

#### IV.

— Колоколъ! повторилъ онъ.—Зачѣмъ колоколъ?

— Благовѣстять, что ли? На молитву... Церковь... духота. Восковья свѣчи. Старенькій попъ, отецъ Михаилъ, служить жалобнымъ, надтреснутымъ голоскомъ; дячекъ баситъ. Хочется спать: въ окно едва брезжится разсвѣтъ. Отецъ, стоящій рядомъ со мной, склоня голову, дѣлаетъ торопливые маленькіе кресты; въ толпѣ мужиковъ и бабъ зади насъ поминутные земные поклоны... Какъ давно это было!.. Такъ давно, что не вѣрится, что это была дѣйствительность, что самъ когда-то видѣлъ, а не прочиталъ гдѣ-нибудь или не слышалъ отъ кого-нибудь. Нѣтъ, нѣтъ, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было.

Если бы теперь такъ, не нужно бы бѣдить за револьверомъ.

— Кончай! шепнула ему мысль. Опъ посмотрѣлъ на револьверъ и протянулъ къ нему руку, но тотчасъ же отвелъ ее назадъ.

— Струсилъ? шепнула ему мысль.

— Нѣтъ, не струсилъ; тутъ не то. Страшнаго ужъ ничего нѣтъ. Но колоколь—зачѣмъ онъ?

Онъ взглянулъ на часы.

— Это къ заутренн, должно быть. Пойдутъ люди въ церковь; многимъ изъ нихъ станетъ легче. Такъ говорятъ, по крайней мѣрѣ. Впрочемъ, помню и мнѣ легче становилось. Мальчикомъ былъ тогда. Потому это прошло, погибло. И легче мнѣ не становилось ужъ ни отъ чего. Это правда.

— Правда! Нашлась правда въ такую минуту!

А минута казалась неизбежной. Онъ медленно повернулъ голову и опять посмотрѣлъ на револьверъ. Револьверъ былъ большой, казеннаго образца, системы Смита и Вессона, когда-то воронешій, но теперь поблѣвшій отъ долгихъ скитаній въ кобурѣ доктора. Онъ лежалъ на столѣ ручкою къ Алексѣю Петровичу, которому было видно потертое дерево ручки съ кольцомъ для шнура, кусокъ барабана съ взведеннымъ куркомъ, да кончикъ ствола, глядѣвшій въ стѣну.

— Вонъ тамъ смерть. Нужно взять, повернуть кругомъ...

На улицѣ было тихо: никто не ѣхалъ и не шелъ

мимо. И изъ этой тишины издалека раздался другой ударъ колокола; волны звука ворвались въ открытое окно и дошли до Алексѣя Петровича. Они говорили чужимъ ему языкомъ, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Ударъ раздавался за ударомъ и когда колоколъ прозвучалъ послѣдній разъ и звукъ, дрожа, разошелся въ пространствѣ, Алексѣй Петровичъ точно потерялъ что-то.

Колоколъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго, узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и всѣ какъ будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что вспомнилъ всю свою жизнь, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь онъ почувствовалъ, что въ немъ есть и другая сторона, та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души.

## V.

Помнишь ли ты себя маленькимъ ребенкомъ, когда ты жилъ съ отцомъ въ глухой, забытой деревушкѣ? Онъ былъ несчастный человѣкъ, твой отецъ, и любилъ тебя больше всего на свѣтѣ. По-



мнишь, какъ вы сидѣли вдвоемъ въ долгіе зимніе вечера, онъ—за счетами, ты—за книжкой. Сальная свѣча горѣла краснымъ пламенемъ, понемногу тускнѣла, пока ты, вооружась щипцами, не снималъ съ нея нагаръ. Это было твоею обязанностью, и ты такъ важно исполнялъ ее, что отецъ всякій разъ поднималъ глаза съ большой «хозяйственной» книги, и съ своей обычной, печальной и ласковой улыбкой поглядывалъ на тебя. Ваши глаза встрѣчались.

— Я, папа, вонъ ужъ сколько прочиталъ, говорилъ ты и показывалъ прочитанныя страницы, зажавъ ихъ пальцами.

— Читай, читай, дружокъ! одобрялъ отецъ и снова погружался въ счеты.

Онъ позволялъ тебѣ читать все, потому что только доброе осадетъ въ душѣ его милаго мальчика. И ты читалъ и читалъ, ничего не понимая въ разсужденіяхъ и ярко, хотя по своему, по дѣтски воспринимая образы.

— Да, тогда все казалось тѣмъ, какъ оно казалось. Красное такъ и было красное, а не отражающее красные лучи. Тогда не было для впечатлѣній готовыхъ формъ—идей, въ которыя человекъ выливаетъ все ощущаемое, не заботясь о томъ, годна ли форма, не дала ли она трещины. И если любилъ кого-нибудь, то зналъ, что любишь; въ этомъ не бывало сомнѣній.

Красивое насмѣшливое лицо взглянуло ему въ глаза и исчезло.

— А эта? тоже любилъ ее? Нечего сказать, поиграли въ чувство довольно. А вѣдь искренно, казалось, говорилъ и думалъ тогда... Мученья сколько было! И когда счастье пришло, оно оказалось вовсе не счастьемъ, и если бы я тогда въ самомъ дѣлѣ могъ приказать времени: подожди, «постой, здѣсь хорошо», то я еще подумалъ бы приказывать или нѣтъ. А потомъ, и очень скоро, понадобилось уже гнать время впередъ... Да не думать же теперь объ этомъ! Нужно думать о томъ, что было, а не о томъ, что казалось.

А было очень немного: только одно дѣтство. И отъ него-то въ памяти остались одни безсвязные клочки, которые Алексѣй Петровичъ сталъ съ жадностью собирать.

Помнится ему маленькій домикъ, спальня, въ которой онъ спалъ противъ отца. Помнится красный коверъ, висѣвшій надъ отцовской постелью; каждый вечеръ, засыпая, онъ смотрѣлъ на этотъ коверъ и находилъ въ его причудливыхъ узорахъ все новыя фигуры: цвѣты, звѣрей, птицъ, человѣческія лица. Помнится утро съ запахомъ соломы, которою топили домъ. Николай, мальиі, уже натащилъ полную переднюю соломы и цѣлыми охапками суеть ее въ устье печи. Она горитъ весело и ясно и дымитъ съ пріятнымъ, немного рѣзкимъ запахомъ. Алеша готовъ былъ просидѣть передъ печью цѣлый часъ, но отецъ звалъ его пить чай, послѣ котораго начинался урокъ. Помнится, какъ онъ не понималъ десятич-

ныхъ дробей, какъ отецъ кипятился и всѣми силами старался растолковать ему ихъ.

— Кажется, онъ и самъ зналъ ихъ тогда не совсѣмъ твердо, подумалъ Алексѣй Петровичъ

Потомъ—Священная исторія. Ее Алеша любилъ больше. Удивительные, огромные и фантастическіе образы. Каинъ, потомъ исторія Іосифа, цари, войны. Какъ вороны носили хлѣбъ пророку Іліи. И картинка была при этомъ: сидятъ Ілія на камнѣ съ большою книгою, а двѣ птицы летятъ къ нему, держа въ носкахъ что-то круглое.

— Папа, смотри: Ильѣ вороны хлѣбъ носили, а нашъ Ворка самъ у насъ все тащитъ.

Ручной воронъ съ выкрашенными въ красную краску носомъ и лапами—это Николай выдумалъ—бочкомъ прыгаетъ по спинкѣ дивана и, вытягивая шею, старается стащить со стѣны блестящую бронзовую рамочку. Въ этой рамочкѣ миниатюрный акварельный портретъ молодого мундшы съ приглаженными височками, одѣтаго въ темнозеленый мундиръ съ эполетами, высочайшимъ краснымъ воротникомъ и крестикомъ въ петлицѣ. Это самъ папа двадцать пять лѣтъ тому назадъ.

Воронъ и портретъ мелькнули и исчезли.

— Потомъ что-жъ такое? Потомъ звѣзды, вертень, ясли. Помню, что эти ясли были для меня совершенно новымъ словомъ, хотя я зналъ и раньше ясли въ конюшнѣ и на скотномъ дворѣ. Эти ясли казались какими-то особенными.

Новый завѣтъ учили не такъ, какъ Ветхій, не по толстешской книжкѣ съ картинкамн. Отецъ самъ рассказывалъ Алешѣ о Иисусѣ Христѣ и часто прочитывалъ цѣлыя страницы изъ Евангелія.

— И кто ударитъ тебя въ правую щеку, обрати ему и другую.—Понимаешь, Алеша?

И отецъ начиналъ долгое объясненіе, котораго Алеша не слушалъ. Онъ вдругъ перебивалъ своего учителя.

— Пана, помнишь, дядя Дмитрій Ивановичъ приѣзжалъ? Вотъ тогда точно такъ было: онъ ударилъ своего Оому въ лицо, а Оома стоитъ, и дядя Дмитрій Ивановичъ его съ другой стороны ударилъ; Оома все стоитъ. Миѣ его жалко стало, я и заплакалъ.

— Да, тогда я заплакалъ, — проговорилъ Алексѣй Петровичъ, вставъ съ кресла и начиная ходить взадъ и впередъ по комнатѣ:—я тогда заплакалъ!

Ему стало ужасно жалко этихъ слезъ шестилѣтняго мальчика, жалко того времени, когда онъ могъ плакать оттого, что въ его присутствіи ударили беззащитнаго человѣка.

## VI.

Въ окно все летѣлъ морозный воздухъ; клубящійся паръ точно выливался въ комнату, въ которой отъ него уже стало холодно. Большая шизкая



лампа съ непрозрачнымъ абажуромъ, стоявшая на письменномъ столѣ, горѣла ясно, но освѣщала только поверхность стола, да часть потолка, образуя на немъ дрожащее круглое пятно свѣта; въ остальной комнатѣ все было въ полумракѣ. Въ немъ можно было разглядѣть шкафъ съ книгами, большой диванъ, еще кое-какую мебель, зеркало на стѣнѣ съ отраженіемъ свѣтлаго письменнаго стола и высокую фигуру, безпокойно метавшуюся по комнатѣ изъ одного угла въ другой, восемь шаговъ туда и восемь назадъ, всякій разъ мелькая въ зеркалѣ. Иногда Алексѣй Петровичъ останавливался у окна: холодный паръ лился ему на разгоряченную голову, на открытую шею и грудь. Онъ дрожалъ, но не освѣжался. Онъ продолжалъ перебирать отрывочныя и безсвязныя воспоминанія, припоминая сотни мелкихъ подробностей, путался въ нихъ и не могъ понять, что именно въ нихъ общаго и важнаго. Зналъ онъ только одно: что до двѣнадцати лѣтъ, когда отецъ отправилъ его въ гимназію, онъ жилъ совершенно иною внутреннею жизнью и помнилъ, что тогда было лучше.

— Что же тянетъ тебя туда, въ полусознательную жизнь? Что хорошаго было въ этихъ дѣтскихъ годахъ? Одинокій ребенокъ и одинокій взрослый человекъ, «немудрящій» человекъ, какъ ты самъ называлъ его послѣ смерти. Ты былъ правъ, онъ былъ немудрящій человекъ. Жизнь скоро и легко исковеркала его, сломавъ въ немъ все доброе, чѣмъ онъ запасся въ юности: но она не внесла ничего и дур-

ного. И онъ доживалъ свой вѣкъ безсильный, съ безсильной любовью, которую почти всю обратилъ на тебя...

Алексѣй Петровичъ думалъ объ отцѣ и въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ почувствовалъ, что любилъ его, не смотря на всю его немудренность. Ему хотѣлось бы теперь хоть на минуту перенестись въ свое дѣтство, въ деревню, въ маленькій домикъ и приласкаться къ этому забитому человѣку, приласкаться просто, по дѣтски. Захотѣлось той чистой и простой любви, которую знаютъ только дѣти, да развѣ очень ужъ чистыя, нетронутыя натуры изъ взрослыхъ.

— Да неужели нельзя вернуть это счастье, эту способность сознавать, что говоришь и думаешь правду? Сколько лѣтъ я не испытывалъ его! Говоришь горячо, какъ будто искренно, а въ душѣ всегда сидитъ червякъ, который точитъ и сосетъ. Червякъ этотъ—мысль: что-дескать, другъ мой, не лжешь ли ты все это? Думаешь ли ты на самомъ дѣлѣ то, что теперь говоришь?

У Алексѣя Петровича въ головѣ сложилась еще одна фраза, повидимому, нелѣпая:

— Думаешь ли ты на самомъ дѣлѣ то, что теперь думаешь?

— Она была нелѣпа, но онъ ее понялъ.

— Да, тогда думалъ именно то, что думалъ. Любилъ отца и зналъ, что любишь. Господи! хоть бы какого-нибудь настоящаго неподдѣльнаго чувства, не

умирающаго внутри моего я! Вѣдь есть же міръ! Колоколь напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ толпу, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить. И такъ любить, какъ любить дѣти. Какъ дѣти... Вѣдь это сказано вотъ тутъ...

Онъ подошелъ къ столу, выдвинулъ одинъ изъ ящичковъ и началъ рыться въ немъ. Маленькая темнозеленая книжка, купленная имъ когда-то на всероссійской выставкѣ за курьезную дешевизну, лежала въ уголку. Онъ съ радостью схватилъ ее. Листки въ два узенькихъ столбца мелкой печати быстро забѣгали подъ его пальцами, знакомыя слова и фразы воскресали въ памяти. Онъ началъ читать съ первой страницы и читалъ все подрядъ, забывъ даже и фразу, изъ-за которой досталъ книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда онъ дошелъ до нея, она поразила его огромностью содержанія, выраженнаго въ восьми словахъ.

«Если не обратитесь и не будете какъ дѣти...»

Ему показалось, что онъ понялъ все.

— Знаю ли я, что значать эти слова? Обратиться и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значитъ, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя. Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное Я, которое, какъ глисть, сосетъ душу и требуетъ себѣ все но-

вой и новой нищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съѣлъ. Всѣ силы, все время были посвящены на служеніе тебѣ. То я кормилъ тебя, то покланялся тебѣ; хоть ненавиждѣлъ тебя, а все-таки покланялся, принося тебѣ въ жертву все хорошее, что мнѣ было дано. И вотъ докланялся, докланялся, докланялся!..

Онъ повторялъ это слово, продолжая ходить по комнатѣ, но уже безсильною походкою, качаясь какъ пьяный, опустивъ голову на дрожавшую рыданьями грудь и не отирая мокраго отъ слезъ лица. Ноги отказывались служить ему; онъ сѣлъ, прижавшись въ уголокъ дивана, облокотился на его ручку и, опустивъ горячую голову на руки, плакалъ какъ дитя. И долго тянулся этотъ упадокъ силъ, но въ немъ уже не было мученья. Смягчилась накинѣвшаяся дѣланная злоба; слезы текли, облегчая, и не было стыдно слезъ; передъ всякимъ, кто бы ни вошелъ въ ту минуту, онъ не сталъ бы сдерживать эти слезы, уносившія съ собою ненависть. Онъ почувствовалъ теперь, что не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ покланялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло—онъ не зналъ, да въ ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія



въ одиночку ничего не значили. и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ.

— Страшно; не могу я больше жить за свой собственный страхъ и счетъ: нужно, непременно нужно связать себя съ общей жизнью, мучаться и радоваться, ненавидѣть и любить не ради своего я, все пожирающаго и ничего взамятъ не дающаго, а ради общей людямъ правды, которая есть въ мірѣ, что бы я тамъ ни кричалъ, и которая говоритъ душѣ, не смотря на всѣ старанія заглушить ее. Да, да! повторялъ въ страшномъ волненіи Алексѣй Петровичъ:—все это сказано въ зеленой книжкѣ и сказано навсегда и вѣрно. Нужно «отвергнуть себя», убить свое я, бросить на дорогу...

— Какая же польза тебѣ, безумный? шепталь голосъ.

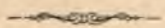
Но другой, когда-то робкій и неслышный, про-  
тремѣлъ ему въ отвѣтъ:

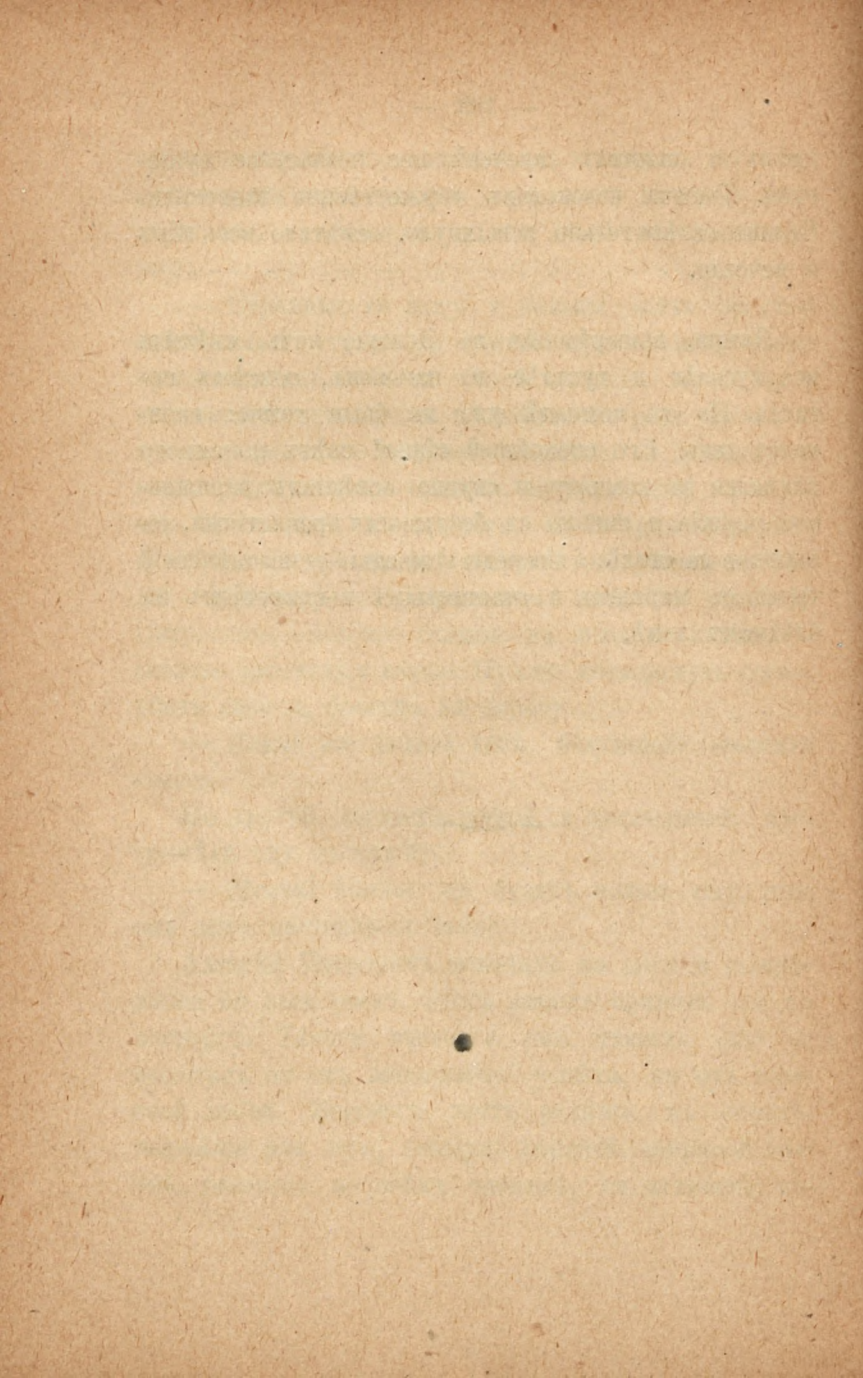
— Молчи! Какая же будетъ польза ему, если онъ самъ растерзаетъ себя?

Алексѣй Петровичъ вскочилъ на ноги и выпрямился во весь ростъ. Этотъ доводъ привелъ его въ восторгъ. Такого восторга онъ никогда еще не испыталъ ни отъ жизненнаго успѣха, ни отъ женской любви. Восторгъ этотъ родился въ сердцѣ, вырвался изъ него, хлынулъ горячей, широкой волной, разлился по всѣмъ членамъ, на мгновение со-

грѣлъ и оживилъ закоченѣвшее несчастное существо. Тысячи колоколовъ торжественно зазвонили. Солнце ослѣпительно вспыхнуло, освѣтило весь міръ и исчезло. . . . .

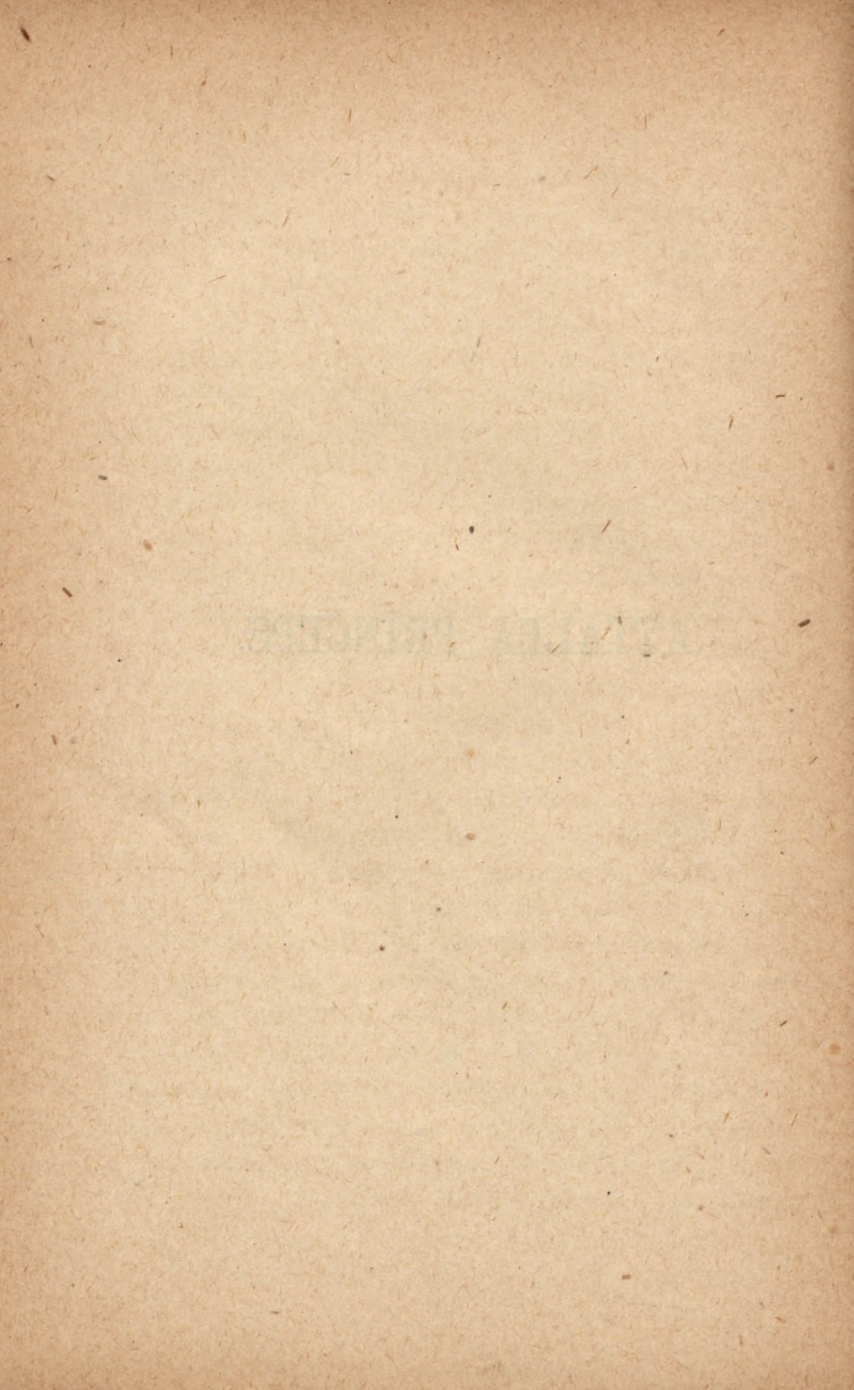
Лампа, выгорѣвшая въ долгую ночь, свѣтила все тусклѣе и тусклѣе и, наконецъ, совсѣмъ погасла. Но въ комнатѣ уже не было темно: начинался день. Его спокойный сѣрый свѣтъ понемногу вливался въ комнату и скудно освѣщалъ заряженное оружіе и письмо съ безумными проклятіями, лежавшее на столѣ, а посреди комнаты — человѣческой трупъ съ мирнымъ и счастливымъ выраженіемъ на блѣдномъ лицѣ.





ATTALEA PRINCEPS.





## ATTALEA PRINCEPS.

---

Въ одномъ большомъ городѣ былъ ботаническій садъ, а въ этомъ саду — огромная оранжерея изъ желѣза и стекла. Она была очень красива: стройныя витыя колоны поддерживали все зданіе: на нихъ опирались легкія узорчатыя арки, переплетенныя между собою цѣлою паутиной желѣзныхъ рамъ, въ которыя были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освѣщало ее краснымъ свѣтомъ. Тогда она вся горѣла, красные отблески играли и переливались, точно въ огромномъ мелко - отшлифованномъ драгоценномъ камнѣ.

Сквозь толстыя прозрачныя стекла виднѣлись заключенныя растенія. Не смотря на величину оранжерей, имъ было въ ней тѣсно. Корни переплелись между собою и отнимали другъ у друга влагу

и нищу. Вѣтви деревъ мѣшались съ огромными листьями пальмъ, гнули и ломали ихъ, и, сами налегая на желѣзныя рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрѣзали вѣтви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти куда хотятъ, но это плохо помогало. Для растеній нуженъ былъ широкій просторъ, родной край и свобода. Они были уроженцы жаркихъ странъ, нѣжныя, роскошныя созданія; они помнили свою родину и тосковали о ней. Какъ ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда въ оранжереѣ становилось совсѣмъ темно. Гудѣлъ вѣтеръ, билъ въ рамы и заставлялъ ихъ дрожать. Крыша покрывалась наметеннымъ снѣгомъ. Растенія стояли и слушали вой вѣтра, и вспоминали иной вѣтеръ, теплый, влажный, дававшій имъ жизнь и здоровье. И имъ хотѣлось вновь почувствовать его вѣянье, хотѣлось, чтобы онъ покачалъ ихъ вѣтвями, поигралъ ихъ листьями. Но въ оранжереѣ воздухъ былъ неподвиженъ; развѣ только иногда зимняя буря выбивала стекло и рѣзкая, холодная струя, полная ищей, влетала подъ сводъ. Куда попадала эта струя, тамъ листья блѣднѣли, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническимъ садомъ управлялъ отличный ученый директоръ и не допускалъ никакого безпорядка, не смотря на то, что большую часть своего времени проводилъ въ за-

нятіяхъ съ микроскопомъ въ особой стеклянной будочкѣ, устроенной въ главной оранжерей.

Была между растеніями одна пальма, выше всѣхъ и красивѣе всѣхъ. Директоръ, сидѣвшій въ будочкѣ, называлъ ее по латыни *Attalea*. Но это имя не было ея роднымъ именемъ: его придумали ботаники. Роднаго имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на бѣлой дощечкѣ, прибитой къ стволу пальмы. Разъ пришелъ въ ботаническій садъ пріѣзжій изъ той жаркой страны, гдѣ выросла пальма; когда онъ увидѣлъ ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А! сказалъ онъ:—я знаю это дерево. И онъ назвалъ его роднымъ именемъ.

— Извините, крикнулъ ему изъ своей будочки директоръ, въ это время внимательно разрѣзывавшій бритвою какой-то стебелекъ: — вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существуетъ. Это *Attalea princeps* родомъ изъ Бразиліи.

— О да, сказалъ бразилецъ:—я вполне вѣрю вамъ, что ботаники называютъ ее *Attalea*, но у нея есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое дается наукой, сухо сказалъ ботаникъ и заперъ дверь своей будочки, чтобы ему не мѣшали люди, не понимающіе даже того, что ужъ если что-нибудь сказалъ человѣкъ науки, такъ нужно молчать и слушаться.

А бразилецъ долго стоялъ и смотрѣлъ на де-



рево и ему становилось все грустнѣе и грустнѣе. Вспомнилъ онъ свою родину, ея солнце и небо, ея роскошныя лѣса съ чудными звѣрями и птицами, ея пустыни, ея чудныя южныя ночи. И вспомнилъ еще, что нигдѣ онъ не бывалъ счастливъ, кромѣ роднаго края, а онъ объѣхалъ весь свѣтъ. Онъ коснулся рукою пальмы, какъ будто бы прощаясь съ нею, и ушелъ изъ сада, а на другой день уже ѣхалъ на пароходѣ домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелѣе, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсѣмъ одна. На пять сажень возвышалась она надъ верхушками всѣхъ другихъ растеній, и эти другія растенія не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этотъ ростъ доставлялъ ей только одно горе; кромѣ того, что всѣ были вмѣстѣ, а она была одна, она лучше всѣхъ помнила свое родное небо и больше всѣхъ тосковала о немъ, потому что ближе всѣхъ была къ тому, что замѣняло имъ его: къ гадкой стекляшной крышѣ. Сквозь нее ей виднѣлось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и блѣдное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растенія болтали между собою, *Attalea* всегда молчала, тосковала и думала только о томъ, какъ хорошо было бы постоять даже и подъ этимъ блѣдненькимъ небомъ.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли насъ будутъ поливать? спросила саговая пальма, очень любившая сырость.—Я, право, кажется засохну сегодня.

— Меня удвѣляютъ ваши слова, сосѣдушка, сказалъ пузатый кактусъ. — Неужели вамъ мало того огромнаго количества воды, которое на васъ выливаютъ каждый день? Посмотрите на меня: мнѣ даютъ очень мало влаги, а я все-таки свѣжъ и соченъ.

— Мы не привыкли быть черезъ-чуръ бережливыми, отвѣчала саговая пальма. — Мы не можемъ расти на такой сухой и дрянной почвѣ, какъ какіе-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить какъ-нибудь. И кромѣ всего этого, скажу вамъ еще, что васъ не просятъ дѣлать замѣчанія.

Сказавъ это, саговая пальма обидѣлась и замолчала.

— Что касается меня, вмѣшалась корица:—то я почти довольна своимъ положеніемъ. Правда, здѣсь скучновато, но ужъ я, по крайней мѣрѣ, увѣрена что меня никто не обдеретъ.

— Но вѣдь не всѣхъ же насъ обдирали, сказалъ древовидный папоротникъ. — Конечно, многимъ можетъ показаться раемъ и эта тюрьма послѣ жалкаго существованія, которое они вели на волѣ.

Тутъ корица, забывъ, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Нѣкоторыя растенія вступились за нее, нѣкоторыя за папоротникъ, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.

— Зачѣмъ вы ссоритесь? сказала Attalea. — Развѣ вы поможете себѣ этимъ? Вы только увели-

чиваете свое несчастіе злобою и раздраженіемъ. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о дѣлѣ. Послушайте меня! растите выше и шире, раскидывайте вѣтви, напирайте на рамы и стекла; наша оранжерея разсыплется въ куски и мы выйдемъ на свободу. Если одна какая-нибудь вѣтка упрется въ стекло, то, конечно, ее отрѣжутъ, но что сдѣлаютъ съ сотней сильныхъ и смѣлыхъ стволовъ? Нужно только работать дружиѣ и побѣда за нами.

Сначала никто не возражалъ пальмѣ: всѣ молчали и не знали, что сказать. Наконецъ, саговая пальма рѣшилась.

— Все это глупости, заявила она.

— Глупости! глупости! заговорили деревья и всѣ разомъ начали доказывать Attale'ѣ, что она предлагаетъ ужасный вздоръ.— Несбыточная мечта! кричали они:—вздоръ! нелѣпость! Рамы прочны и мы никогда не сломаемъ ихъ, да если бы и сломали, такъ что-жъ такое? Прийдутъ люди съ ножами и съ топорами, отрубятъ вѣтви, задѣлаютъ рамы и все пойдетъ по старому. Только и будетъ, что отрѣжутъ отъ насъ цѣлые куски...

— Ну, какъ хотите! отвѣчала Attalea.—Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Я оставлю васъ въ покоѣ: живите, какъ хотите, ворчите другъ на друга, спорьте изъ-за подачекъ воды и оставайтесь вѣчно подъ стекляннымъ колпакомъ. Я и одна найду себѣ дорогу. Я хочу видѣть небо и солнце не сквозь эти рѣшетки и стекла,—и я увижу!

И пальма гордо смотрѣла зеленой вершиной на лѣсъ товарищей, раскинутый подъ нею. Никто изъ нихъ не смѣлъ ничего сказать ей; только саговая пальма тихо сказала сосѣдкѣ цикадѣ:

— Ну, посмотримъ, посмотримъ, какъ тебѣ отрѣжутъ твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Attaleю за ея гордыя слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обидѣлась ея рѣчами. Это была самая жалкая и презрѣнная травка изъ растеній оранжереи: рыхлая, блѣдненькая, ползучая, съ вялыми толстенькими листьями. Въ ней не было ничего замѣчательнаго и она употреблялась въ оранжереѣ только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвиняла собою подножіе большой пальмы, слушая ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздухъ и свободу. Оранжерея и для нея была тюрьмой. «Если я ничтожная вялая травка, такъ страдаю безъ своего сѣренькаго неба, безъ блѣднаго солнца и холоднаго дождя, то что должно испытывать въ неволѣ это прекрасное и могучее дерево!» Такъ думала она и нѣжно обвинялась около пальмы и ласкалась къ ней. «Зачѣмъ я не большое дерево? Я послушалась бы совѣта. Мы расли бы вмѣстѣ и вмѣстѣ вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидѣли бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только ма-



ленькая и вялая травка. Она могла только еще нѣжнѣе обвитья около ствола Attale'и и прошептать ей свою любовь и желаніе счастья въ попыткѣ.

— Конечно, у насъ вовсе не такъ тепло, небо не такъ чисто, дожди не такъ роскошны, какъ въ вашей странѣ, но все-таки и у насъ есть и небо, и солнце, и вѣтеръ. У насъ нѣтъ такихъ пышныхъ растеній, какъ вы и ваши товарищи, съ такими огромными листьями и прекрасными цвѣтами, но и у насъ растутъ очень хорошія деревья: сосны, ели и березы. Я—маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но вѣдь вы такъ велики и сильны! Вашъ стволъ твердъ и вамъ уже не долго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на божіей свѣтъ. Тогда вы расскажете мнѣ, все ли тамъ такъ же прекрасно, какъ было. Я буду довольна и этимъ.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вмѣстѣ со мною? Мой стволъ твердъ и крѣпокъ: опрайся на него, ползи по мнѣ. Мнѣ ничего не значитъ снести тебя.

— Нѣтъ ужъ, куда мнѣ! Посмотрите, какая и вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей вѣточки. Нѣтъ, я вамъ не товарищъ. Растите, будьте счастливы. Только прошу васъ, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленькаго друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посѣ-

тителн оранжерей удвлялись ея огромному росту, а она становилась, съ каждымъ мѣсяцевъ все выше и выше. Директоръ ботаническаго сада приписывалъ такой быстрой ростъ хорошему уходу и гордился знаніемъ, съ какимъ онъ устроилъ оранжерею и велъ свое дѣло.

— Да-съ, взгляните-ка на *Attalea princeps*, говорилъ онъ.—Такіе рослые экземпляры рѣдко встрѣчаются и въ Бразиліи. Мы приложили все наше знаніе, чтобы растенія развивались въ теплицѣ совершенно такъ же свободно, какъ и на волѣ, и, мнѣ кажется, достигли нѣкотораго успѣха.

При этомъ, онъ съ довольнымъ видомъ похлопывалъ твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжереѣ. Листья пальмы вздрагивали отъ этихъ ударовъ. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнѣва услышалъ бы директоръ!

— Онъ воображаетъ, что я расту для его удовольствія, думала *Attalea*.—Пусть воображаетъ!

И она расла, тратя всѣ соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая ихъ свои корни и листья. Иногда ей казалось, что разстояніе до свода не уменьшается. Тогда она напрягала всѣ силы. Рамы становились все ближе и ближе и, наконецъ, молодой листъ коснулся холоднаго стекла и желѣза.

— Смотрите, смотрите, заговорили растенія: — куда она забралась! Неужели рѣшится?

— Какъ она страшно выросла, сказалъ древо-видный напоротникъ.

— Что-жъ, что выросла! Эка невидаль! Вотъ еслибъ она сьумѣла растолстѣть такъ, какъ я, сказала толстая цикада, со стволомъ, похожимъ на бочку.—И чего тянется? Все равно ничего не сдѣлаетъ. Рѣшетки прочны и стекла толсты.

Прошелъ еще мѣсяцъ. Attalea подымалась. Наконецъ, она плотно уперлась въ рамы. Расти дальше было некуда. Тогда стволъ началъ сгибаться. Его листовая вершина скомкалась, холодныя прутья рамы впились въ нѣжные молодые листья, перерѣзали и изуродовали ихъ, но дерево было упрямо, не жалѣло листьевъ, не смотря ни на что, давило на рѣшетки, и рѣшетки уже подавались, хотя были сдѣланы изъ кружкаго желѣза.

Маленькая травка слѣдила за борьбой и замирала отъ волненія.

— Скажите мнѣ, неужели вамъ не больно? Если рамы ужъ такъ прочны, не лучше ли отступить? спросила она пальму.

— Больно? Что значитъ больно, когда я *хочу* выйти на свободу. Не ты ли сама ободряла меня? отвѣтила пальма.

— Да, я ободряла, но я не знала, что это такъ трудно. Мнѣ жаль васъ. Вы такъ страдаете.

— Молчи, слабое растение! Не жалѣй меня! Я умру или освобожусь!

И въ эту минуту раздался звонкій ударъ. Лопуза толстая желѣзная полоса. Посыпалась и зазвез-

нѣли осколки стекла. Одинъ изъ нихъ ударилъ въ шляпу директора, выходившаго изъ оранжереи.

— Что это такое? вскрикнулъ онъ, вздрогнувъ, увидя летящiе по воздуху куски стекла. Онъ отбѣжалъ отъ оранжереи и посмотрѣлъ на крышу. Надъ стекляннымъ сводомъ гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

— Только то? думала она.—И это все, изъ-за чего я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею цѣлью?

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстие. Моросилъ мелкiй дождикъ пополамъ съ снѣгомъ; вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковатыя тучи. Ей казалось, что онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ да на еляхъ стояли темнозеленые хвоя. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. «Замерзнешь! какъ будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое морозъ. Ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновенiе снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний дворъ богаческаго сада, на скучный огромный городъ, вид-



ѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди, тамъ внизу въ теплицѣ, не рѣшатъ, что дѣлать съ нею.

Директоръ приказалъ спилить дерево. «Можно бы надстроить надъ нею особенный колпакъ, сказалъ онъ. но надолго ли это? Она опять вырастетъ и все сломаетъ. И притомъ это будетъ стоить черезчуръ дорого. Спилить ее.»

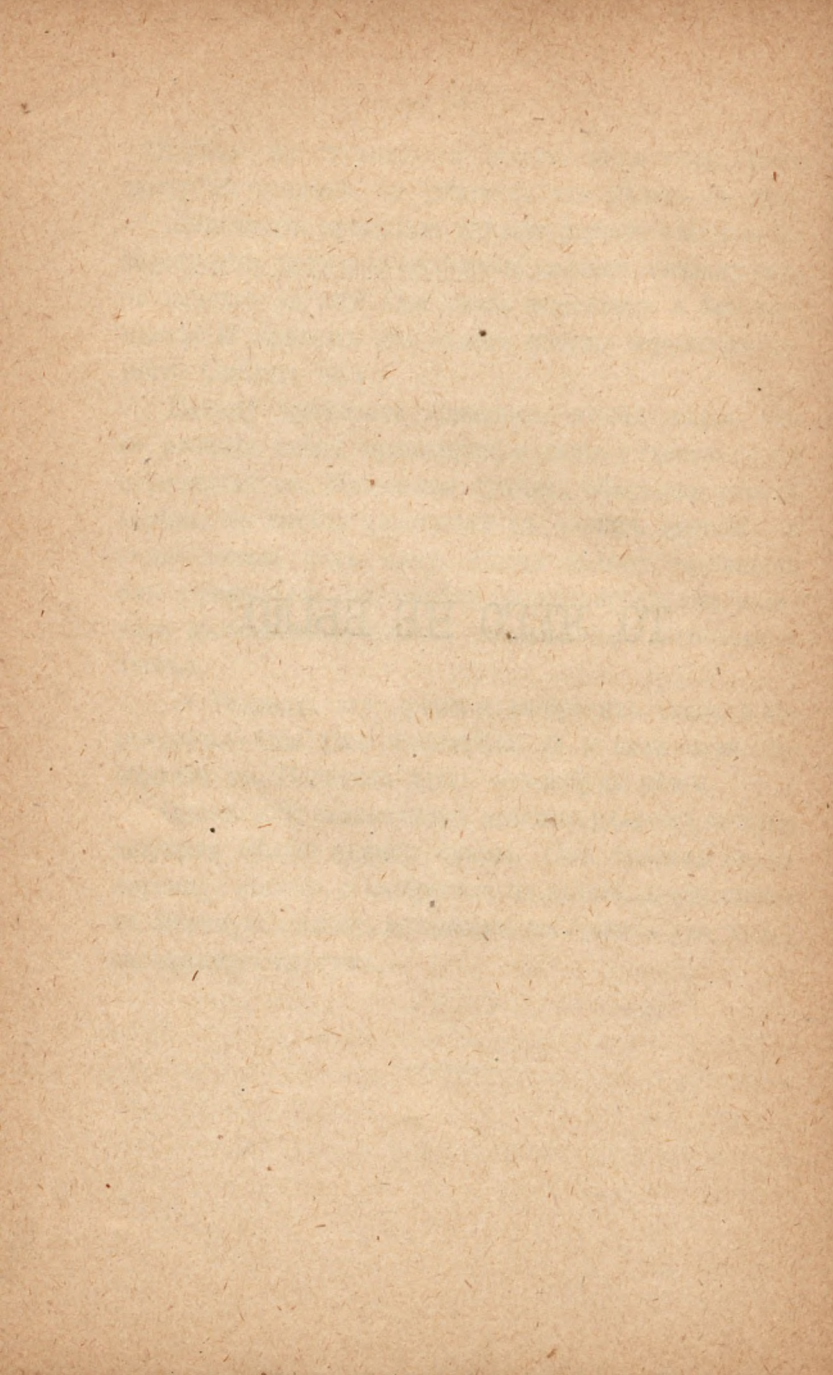
Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стѣнъ оранжерей, и низко у самаго корня перепилили ее. Маленькая травка, обвившая стволъ дерева, не хотѣла разстаться съ своимъ другомъ, и тоже попала подъ пилу. Когда пальму выгнали изъ оранжерей, на отрѣзѣ оставшагося пня валялись разможенные пилою, истерзанные стебельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить, сказалъ директоръ.—Она уже пожелтѣла, да и пила очень испортила ее. Посадить здѣсь что-нибудь новое.

Одинъ изъ садовниковъ ловкимъ ударомъ застуна вырвалъ цѣлую охапку травы. Онъ бросилъ ее въ корзину, вынесъ и выбросилъ на задній дворъ, прямо на мертвую пальму, лежавшую въ грязи и уже полужасыпанную снѣгомъ.



ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО.



## ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО.

---

Въ одинъ прекрасный іюньскій день, — а прекрасный онъ былъ потому, что было двадцать восемь градусовъ по Реомюру, — въ одинъ прекрасный іюньскій день было вездѣ жарко; а на полянкѣ въ саду, гдѣ стояла конна недавно скошеннаго сѣна, было еще жарче, потому что мѣсто было закрытое отъ вѣтра густымъ, прегустымъ вишнякомъ. Все почти спало: люди наѣлись и занимались послѣобѣденными боковыми занятіями; птицы при-молкли; даже многія насѣкомыя попрятались отъ жары. О домашнихъ животныхъ нечего и говорить: скоть крупный и мелкій прятался подъ навѣсъ; собака, вырвавъ себѣ подъ амбаромъ яму, улеглась туда и, полузакрывъ глаза, прерывисто дышала, высунувъ розовый языкъ чуть не на полъаршина. Иногда она, очевидно отъ тоски, происходящей отъ



смертельной жары, такъ зѣвала, что при этомъ даже раздавался тоненькій визгъ; свиньи, маменька съ 13-ю дѣтками, отправились на берегъ и улеглись въ черную, жирную грязь, причемъ изъ грязи видны были только сонѣвшіе и храпѣвшіе свинные пяточкі съ двумя дырочками, продолговатыя, облитыя грязью спины, да огромныя повислыя уши. Однѣ куры, не боясь жары, кое-какъ убивали время, разгребая лапами сухую землю противъ кухоннаго крыльца, въ которой, какъ онѣ отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то пѣтуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда онѣ принималъ глухой видъ и во все горло кричалъ: «какой скандааль!!»

Вотъ мы ушли съ полячки, на которой жарче всего, а на этой-то полянкѣ и сидѣло цѣлое общество неснавшихъ господъ. То-есть сидѣли-то не всѣ: старый гнѣдой, наиримѣръ, съ опасностью для своихъ боковъ отъ кнута кучера Антоца, разгребавшій копну сѣна, будучи лошадыю, вовсе и сидѣть не умѣлъ; гусеница какой-то бабочки тоже не сидѣла, а скорѣе лежала на животѣ; но дѣло вѣдь не въ словѣ. Подъ вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компанія: улитка, навозный жукъ, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакалъ кузнечикъ. Возлѣ стоялъ и старый гнѣдой, прислушиваясь къ ихъ рѣчамъ однимъ повернутымъ къ нимъ гнѣдымъ ухомъ, съ торчащими изнутри темносѣрыми волосами: а на гнѣдомъ сидѣли двѣ мухи.

Компанія вѣжливо, но довольно одушевленно спорила, причѣмъ, какъ и слѣдуетъ быть, никто ни съ кѣмъ не соглашался, такъ какъ каждый дорожилъ независимостью своего мнѣнія и характера.

— По моему, говорилъ навозный жукъ,—порядочное животное прежде всего должно заботиться о своемъ потомствѣ. Жизнь есть трудъ для будущаго поколѣнія. Тотъ, кто сознательно исполняетъ обязанности, возложенныя на него природой, тотъ стоитъ на твердой почвѣ: онъ знаетъ свое дѣло и, чтобы ни случилось, онъ не будетъ въ отвѣтѣ. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто цѣлые дни безъ отдыха катаетъ такой тяжелый шаръ?—шаръ, мною-же столь искусно созданный изъ навоза съ великой цѣлью дать возможность вырасти новымъ, подобнымъ мнѣ, навознымъ жукамъ? Но за то не думаю, чтобы кто-нибудь былъ такъ спокоенъ совѣстью и съ чистымъ сердцемъ могъ бы сказать; «да, я сдѣлалъ все, что могъ и долженъ былъ сдѣлать», какъ скажу я, когда на свѣтъ явятся новые навозные жуки. Вотъ что значитъ трудъ!

— Поди ты, братецъ, съ своимъ трудомъ!—сказалъ муравей, притащившій во время рѣчи навознаго жука, не смотря на жару, чудовищный кусокъ сухого стебелька. Онъ на минуту остановился, присѣлъ на четыре заднія ножки, а двумя передними отеръ потъ со своего измученнаго лица.—И я вѣдь тружусь, и побольше твоего! Но ты работаешь для себя, или, все равно, для своихъ жучинятъ; не всѣ

такъ счастливы... попробовалъ бы ты потаскать бревна для казны, вотъ какъ я. Я и самъ не знаю, что заставляетъ меня работать, выбиваясь изъ силъ даже и въ такую жару. — Никто за это и спасибо не скажетъ. Мы, несчастные рабочіе муравьи, всѣ трудимся, а чѣмъ красна наша жизнь? Судьба!...

— Вы, навозный жукъ, слишкомъ сухо, а вы, муравей, слишкомъ мрачно смотрите на жизнь, возразилъ имъ кузнечикъ. Нѣтъ, жукъ, я люблю такъ погрѣщать и попрыгать, и ничего! совѣсть не мучить! Да при томъ, вы несколько не коснулись вопроса, поставленнаго г-жей ящерицей: она спросила: «что есть міръ?» а вы говорите о своемъ навозномъ шарѣ; это даже невѣжливо. Міръ — міръ по моему очень хорошая вещь уже потому, что въ немъ есть для насъ молодая травка, солнце и вѣтерокъ. Да и великъ же онъ! Вы здѣсь, между этими деревьями, не можете имѣть никакого понятія о томъ, какъ онъ великъ. Когда я бываю въ полѣ, я иногда вспрыгиваю какъ только могу вверхъ и увѣряю васъ, достигаю огромной высоты. И съ нея-то я вижу, что міру нѣтъ конца.

— Вѣрно, глубокомысленно подтвердилъ гнѣдой. — Но всѣмъ вамъ, все-таки, не увидѣть и сотою части того, что видѣлъ на своемъ вѣку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лунаревка: туда я каждый день ѣзжу съ бочкой за водой. Но тамъ меня никогда не кормить. А съ другой стороны Ефимовка.

Кисляковка; въ ней церковь съ колоколами. А потомъ Свято-Троицкое, а потомъ Богоявленскъ. Въ Богоявленскѣ мнѣ всегда даютъ сѣна, но сѣно тамъ плохое. А вотъ въ Николаевѣ, — это такой городъ, двадцать восемь верстъ отсюда, такъ тамъ сѣно лучше и овесъ даютъ; только я не люблю туда ѣздить: туда ѣздить на насъ баринъ и велитъ кучеру погонять, а кучерь больно стегаегь насъ кнутомъ... А то есть еще Александровка, Бѣлозерка, Херсонъ—городъ тоже... Да только, куда вамъ понять все это!.. Вотъ это-то и есть мѣръ; не весь, положимъ, ну да все-таки значительная часть.

И гнѣдой замолчалъ, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно онъ что-нибудь шепталъ. Это происходило отъ старости: ему былъ уже 17-й годъ, а для лошади это все равно, что для человѣка семьдесятъ седьмой.

— Я не понимаю вашихъ мудреныхъ лошадиныхъ словъ, да, признаться, и не гонюсь за ними, сказала улитка.—Мнѣ былъ бы лопухъ, а его довольно: вотъ уже я четыре дня ползу, а онъ все еще не кончается. А за этимъ лопухомъ есть еще лопухъ, а въ томъ лопухѣ навѣрно сидитъ еще улитка. Вотъ вамъ и все. И прыгать никуда не нужно—все это выдумки и пустяки; сиди себѣ, да ѣшь листь, на которомъ сидишь. Если бы не листь ползти, давно бы ушла отъ васъ съ вашими разговорами: отъ нихъ голова болитъ и больше ничего.

— Нѣтъ, позвольте, отчего же? перебилъ кузне-



чикъ.—потрещать очень пріятно, особенно о такихъ хорошихъ предметахъ, какъ безконечность и прочее такое. Конечно, есть практическія натуры, которыя только и заботятся о томъ, какъ бы набить себѣ животъ, какъ вы или вотъ эта прелестная гусеница...

— Ахъ нѣтъ! оставьте меня, прошу васъ, оставьте, не троньте меня! жалобно воскликнула гусеница:—я дѣлаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой тамъ еще будущей жизни? спросилъ гнѣдой.

— Развѣ вы не знаете, что я послѣ смерти сдѣлаюсь бабочкой съ разноцвѣтными крыльями?

Гнѣдой, ящерица и улитка этого не знали, но паскомья имѣли кое-какое понятіе. И всѣ немного помолчали, потому что никто не умѣлъ сказать ничего путнаго о будущей жизни.

— Къ твердымъ убѣжденіямъ нужно относиться съ уваженіемъ, затрещалъ, наконецъ, кузнечикъ.— Не желаетъ ли кто сказать еще что нибудь? Можетъ быть вы? обратился онъ къ мухамъ. И старшая изъ нихъ отвѣтила:

— Мы не можемъ сказать, чтобы намъ было худо. Мы сейчасъ только изъ комнатъ; барыня разставила въ мискахъ наваренное варенье и мы забрались подъ крышку и наѣлись. Мы довольны. Наша маменька увязла въ варенье, но что-жъ дѣ-

лать? Она уже довольно пожила на свѣтѣ. А мы довольны.

— Господа, сказала ящерица, я думаю, что всѣ вы совершенно правы! Но, съ другой стороны...

Но ящерица такъ и не сказала, что было съ другой стороны, потому что почувствовала, какъ что-то крѣпко прижало ея хвостъ къ землѣ.

Это пришелъ за гнѣдымъ проснувшійся кучеръ Антонъ; онъ нечаянно наступилъ своимъ саножницею на компанію и раздавилъ ее. Однѣ мухи улетѣли обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньемъ маменьку, да ящерица убѣждала съ оторваннымъ хвостомъ. Антонъ взялъ гнѣдаго за чубъ и повелъ его изъ сада, чтобыгъ заперчь въ бочку и ѣхать за водой, при чемъ приговаривалъ: ну, иди, ты, хвостяка! на что гнѣдой отвѣчалъ только шептаньемъ.

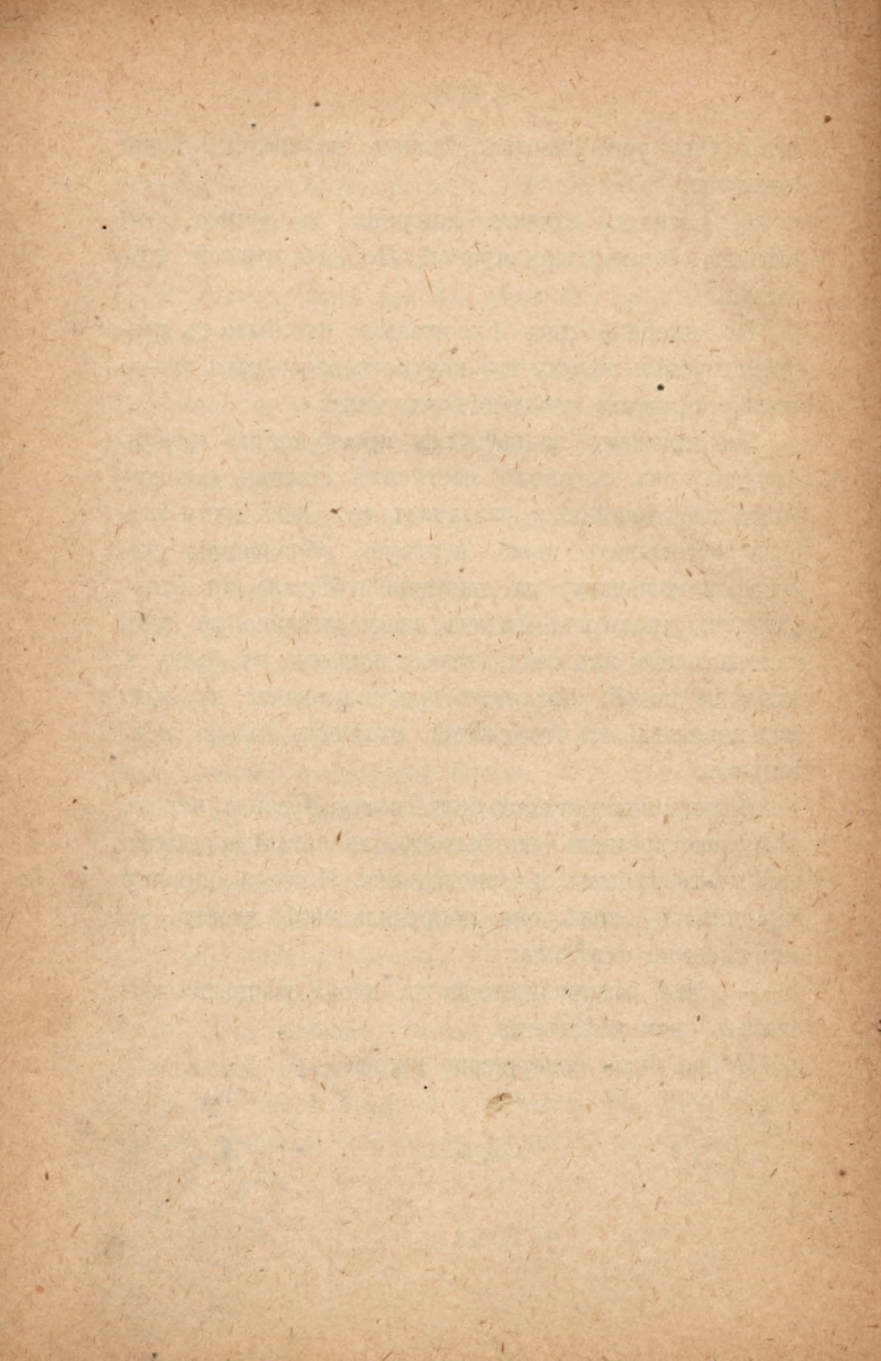
А ящерица осталась безъ хвоста. Правда, черезъ нѣсколько времени онъ выросъ, но навсегда остался какимъ-то тупымъ и черноватымъ. И когда ящерицу спрашивали, какъ она повредила себѣ хвостъ, то она скромно отвѣчала:

— Миѣ оторвали его за то, что я рѣшилась высказать свои убѣжденія.

И она была совершенно права.

#18188.



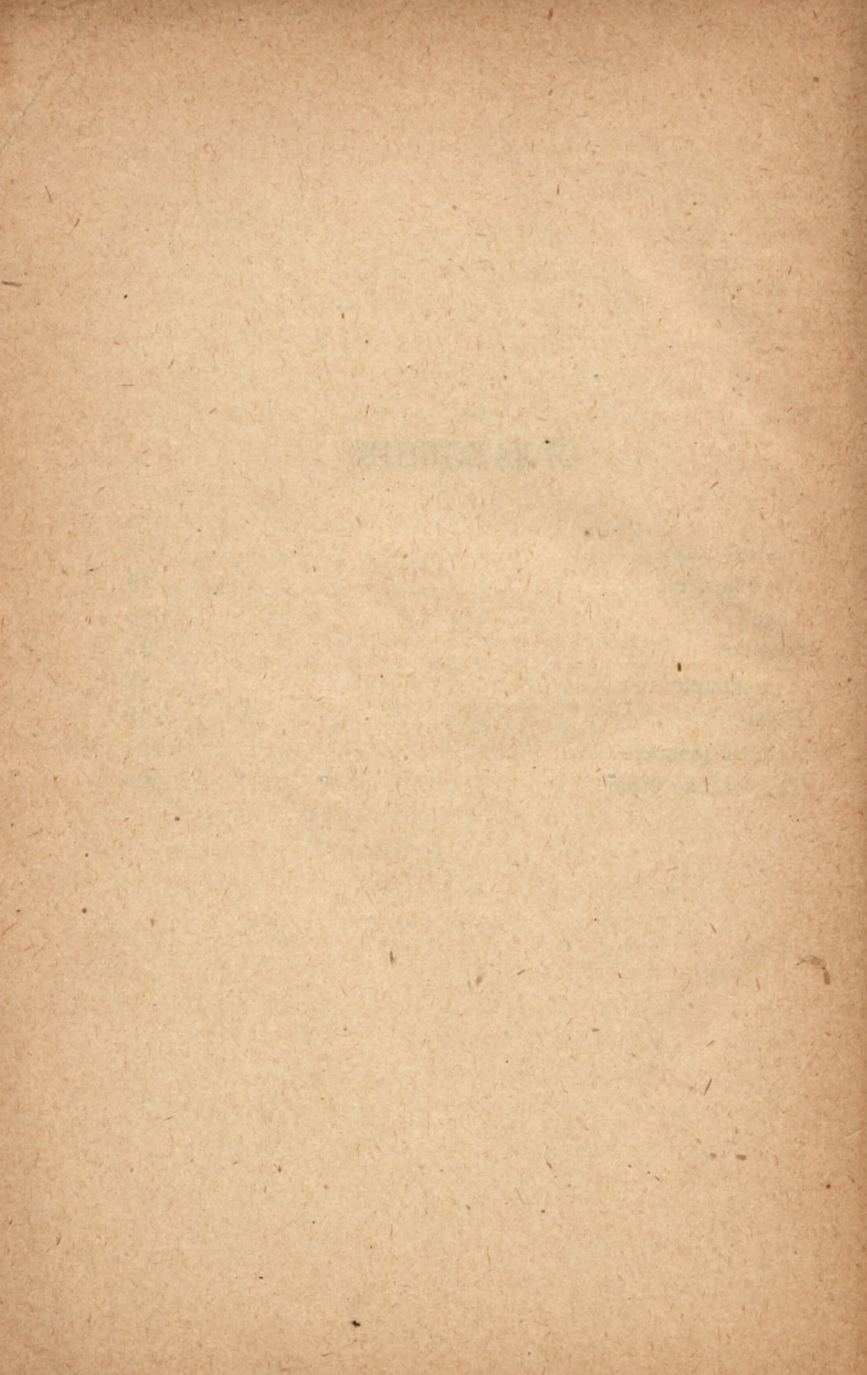


## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Четыре дня. . . . .	3
Происшествіе . . . . .	25
Трусъ . . . . .	55
Встрѣча . . . . .	93
Художники . . . . .	127
Ночь . . . . .	159
Attalea princeps. . . . .	191
То, чего не было . . . . .	205

---





**Вамбери, Г.** Очерки жизни и нравов Востока; перев. съ нѣм. Оглавл.: Предисловіе. Домъ и дворъ. Семейная жизнь. Женщины. Свадьба поэта, водевиль въ 1 д. Одежда и украшенія. Кушанья. Попойка. Табакъ и паркотич. средства. Бани и омовенія. Школы. Образованіе. Праздники. Богомольцы и богомолья. Дервиши. Высокая Порта въ Константинополѣ и ея столпы. Караваны. Базары и базарная жизнь. Христіане и евреи. Магометан. народныя типы. Магом. правит. настоящ. врем. Пословицы: Османскія, Узбекскія, Казанско-Татарскія и Алтайскія. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

## ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ КИТАЯ.

Сочин. Сергѣя Георгіевскаго, 494 страницы и 16 табл. приложеній, Спб. 1888 г. Цѣна 2 р. 50 к. съ пересылкою. Содержаніе:

Предисловіе: Глава I.—Примитивное вѣрованіе въ продолжаемость существованія души человѣка послѣ его смерти. II.—Храмы предковъ. III.—Храмы предковъ (продолженіе). IV.—Бракъ V.—Права первородства. Pater familias: Родъ VI.—Развитія многобожія и заслоненіе послѣднимъ культа предковъ. VII.—Разрушеніе философіею примитивной вѣры и древняго принципа жизни. VIII.—Конфуціанство и Конфуцій. IX.—Ученіе Конфуція X.—Развитіе конфуціевой доктрины въ книгахъ классическихъ. Значеніе послѣднихъ въ дѣлѣ управления имперіею XI.—Развитіе конфуціевой доктрины вообще въ китайской литературѣ. XII.—Проведеніе конфуційскаго принципа въ жизнь законодательствомъ. Заключеніе.

## ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА ЖИЗНИ РЕБЕНКА.

Сочин. Б. Пэре. Перев. съ франц. М. Цебриковой. Съ приложеніемъ статьи Бэна: Воспитаніе, какъ наука.

Содержаніе: Введеніе.—Чувствительность.—Удовольствіе и страданіе чувствъ.—Чувствительность.—Чувства и страсти.—Способность движенія.—Первый періодъ.—Способность движенія.—2-й періодъ.—Способность самопроизвольнаго движенія.—Способность ума.—Сознаніе.—Вниманіе.—Память.—Ассоцірованіе ощущеній, идей и дѣйствій.—Способность отвлеченія.—Сравненія.—Воображеніе.—Обобщеніе.—Сужденіе.—Разсудокъ.—О выраженіи и языкѣ.—Повятіе о л.—Личность.—Мышленіе.—Нравственное чувство.—Заключеніе.—Воспитаніе какъ наука, Бэна. Всего 318 стр. Цѣна съ перес. 1 р. 50.

## СОЧИНЕНІЯ Я. П. ПОЛОНСКАГО:

Крутыя горки. Романъ въ 3-хъ частяхъ. Спб. 1888 г. Ц. 3 р. съ перес.

Нечаянно. Повѣсть въ 2-хъ ч. Спб. 1888 г. Ц. 2 руб. съ перес.

Дешевый городъ. Хроника-романъ въ 3-хъ частяхъ. Спб., 1888 г. Ц. 2 р. 50. к. съ перес.

Признанія Сергѣя Чалыгина. Романъ. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

Повѣсти и рассказы. Содержаніе: Статуя весны.—Груня.—Домъ въ деревнѣ.—Какъ инге путешествуютъ.—Рассказъ вдовы.—Мѣдный лобъ.—Женитьба Агуева.—Мой дядя и я—что изъ его рассказовъ.—Во дни помѣшательства. Спб. 1888 г. Ц. 2 р. 50 к. съ перес.

Полное собраніе сочиненій. Въ 10 томахъ. Ц. 18 руб. съ перес.

## ВИКТОРЪ ВИБИКОВЪ.

Рассказы: Барьерная сторожка.—На лодкѣ.—Любочка.—Ветръча.—Писатель.—Счастье.—Путевой альбомъ.—Приключеніе.—Воспоминанія о Всеволодѣ Гаршинѣ и С. Я. Надсонѣ. Спб. 1888 г. 400 стр. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

## СОБРАНІЕ РОМАНОВЪ І. ЯСИНСКАГО.

(Максима Бѣлиускаго).

Искра Божія. 394 стр. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.

Великій человекъ. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. съ перес.

## ЕВГЕНІЙ ГАРШИНЪ.

Курганы, ихъ раскопки, изслѣдованіе и находженіе кладовъ. Подборъ необходимыхъ свѣдѣній. Спб. 1888 г. Ц. 25 к. съ перес.

— Повгородскія древности, археологическій эскизъ съ 8-ю видами, изд. 2-ое Спб. 1886 г. Ц. 30 к. съ перес.

— Критическіе опыты. Испорченная жизнь. Наши духовные отцы. Повесть Я. П. Полонскаго. Драмы Островскаго, какъ основа народнаго репертуара. Русская драма на повомъ пути. Русская литература за 1886 г.. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. съ перес.

Гинсбургъ, А. В. Русская правда. Текстъ, изданный по тремъ спискамъ съ предисловіемъ и краткимъ объяснительнымъ словаремъ. Спб. 1888 г. Ц. 50 к. съ перес.

Кривенко, С. Н. Физическій трудъ. Какъ необходимый элементъ образованія. Изд. II. Спб. 1887 г. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.













Biblioteka im. Hieronima  
Łopacińskiego w Lublinie



324091

1000072394

